



# СОЛДАТЫ И ЦАРЬ

ЕЛЕНА КРЮКОВА

Елена Крюкова

**Солдат и Царь. Два  
тома в одной книге**

«Издательские решения»

## **Крюкова Е.**

Солдат и Царь. Два тома в одной книге / Е. Крюкова —  
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-854324-1

Трагедия первой мировой войны. Трагедия русской революции 1917 года. Трагедия расстрела последней русской царской семьи. Эти три трагедии будут приковывать к себе внимание. Книга Елены Крюковой — о красноармейцах, стороживших семью Романовых в Тобольске и Екатеринбурге. Молодой боец Красной Армии Михаил Лямин — и царь Николай Второй. Царское семейство, уже обреченное — и народ, что несет у его комнат последний караул.

ISBN 978-5-44-854324-1

© Крюкова Е.  
© Издательские решения

## Содержание

Прелюдия. Все равно	6
КНИГА ПЕРВАЯ	11
Глава первая	11
Глава вторая	51
Глава третья	107
Интерлюдия	120
Конец ознакомительного фрагмента.	139

# **Солдат и Царь Два тома в одной книге**

**Елена Крюкова**

*Дизайнер обложки* Владимир Фуфачев

© Елена Крюкова, 2017

© Владимир Фуфачев, дизайн обложки, 2017

ISBN 978-5-4485-4324-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## Прелюдия. Все равно

Чем больше я живу, тем яснее вижу: земля пульсирует кровью, как человеческое тело.

Если она долго живет без войны или революции – она сама себе делает кровопускание, будто эта грубо, щедро льющаяся кровь может ее очистить от грязи. Выливаясь из ее черного разрубленного тела, омыть все, что гниет и смердит.

Но это иллюзия. Так мы говорим, чтобы себя утешить.

В смерти нет ничего высокого. Она ждет всех, и меня тоже. Говорят: революция прекрасна, она вдыхает в народ новые силы! И он бежит к яркому свету будущего!

...На свет полыхающего страшного зари бежит он, народ.

...Моя бабушка, Наталья Павловна Еремина, была пятой дочерью моих прабабки и прадеда, а всего детей родилось одиннадцать. Я ловила, как котенок, клубок из ее корзины, у ее толстых мощных ног, когда она вязала. Или шила – на старой ножной швейной машинке. Нога бабушки ритмично двигалась, ткань ползла из-под руки.

...Сейчас думаю: это ползло, падало на пол – время.

Баба Наташа держала в зубах нитки, иголки. Когда вязала – и спицы, как собака палку. Я смеялась. Она вынимала спицу изо рта, беззубо и морщинисто улыбалась мне и говорила. Рассказ будто не прерывался. Я вздыхала и слушала. Вертела в пальцах перламутровую пуговицу от старого бабушкиного сарафана.

Бабушка рассказывала о прадеде Павле, а потом еще об одном человеке, его друге. Звучало это примерно так, не берусь воссоздать все точнехонько:

– Твой прадедуська Павел нам этот дом построил. Верней, перестроил, из ветхого старья. Плотник был отменный. Топор танцевал в его руках. А уж настрадался он в жизни! Где только ни мучили его. В особом лагере на Новой Земле – отсидел пятнадцать лет. До этого – Соловки. До Соловков – Уссурийск. До Уссурийска – поселение, Минусинская котловина. Там у него и женщина была! Мать знала, сильно плакала. А до Минусинска...

Баба Наташа опять зажимала в губах спицу. Металл тонко блестел, я торопила рассказ: а дальше?

– До Минусинска... был Омск... а до Омска – Екатеринбург, теперь Свердловск... там он горячего хлебнул... а до Свердловска – Тобольск... А в Тобольск отец прямо с войны попал, из окопов... А на войну – из Нового нашего Буяна взяли...

Я отматывала, вместе с бабушкой, клубок времени назад. Разматывала время.

...Только сейчас размотала – а ветер уже разметал клочья шерсти, порванные нити.

И вот наступило странное и важное время – связать все эти гнилые, ислевшие, летающие по серому ветру нити. Нечто важное, верное рассказать. Для кого важное? Для меня самой? Или для тех, кто будет это читать и думать над этим?

Время – ветер, оно выдувает непрошенные мысли. Люди привыкают не думать в тишине, а только работать, делать. Им кажется – важные дела. Или отдыхать, наслаждаться.

Почему «хлебнул горячего» в Свердловске? Почему у этого города два имени? Горячее – это страшное, я догадалась тогда.

Много позже я узнала, уже со слов моей матери: прадед Павел Ефимыч, красноармеец, служил в отряде, который сторожил последнюю царскую семью в Ипатьевском доме в Екатеринбурге.

Уже нет того дома: сломал товарищ Ельцин. Или господин Ельцин, как угодно. Наш первый президент. Я с замиранием сердца спрашивала маму: а правда, прадедуська Павел рас-

стрелял царя? Мать прижимала палец к губам. Так же, как бабушка, она всегда шила – на ручной швейной машинке «Подольская», черной, чугунной, с золотой вязью по гладким женским бокам. И все так же ползла из-под руки, со стола на пол, разнообразная ткань.

Палец, прижатый к губам, говорил без слов: говорить нельзя. Запрещено.

Мама, глазной врач, рано надела очки. Сапожник без сапог. Толстые стекла непомерно увеличивали глаза. Мы, девчонки, таких лупоглазых цариц рисовали чернилами на школьных промокашках. Она стала портнихой по наследству, домашней, только для семьи. Шить она умела все – от пальто и шубы до детской распашонки. Все семейство обшивала. Ночами.

Однажды ночью я услышала, как она плачет. Осторожно ступая босыми ногами, вышла в большую комнату – мама называла ее «зала». Большими красивыми руками мать вцепилась в чугунную плаху «Подольской», лоб лежал на руках, она всхлипывала. Толстые очки валялись на полу. Я подошла и погладила ее по плечу. Подняла очки.

«Мама, что ты плачешь?» – спросила я тогда робко. Я не умела утешать, стеснялась. Меня ласкали и любили, а я не умела ласкать. Боялась. Мать утерла лицо ладонями. Потом погладила мне шершавой, будто наждачной ладонью заспанное лицо.

«Деда вспомнила. Как он нас всех, сестер, любил. Меня звал Нинусик. Томочку – Тамочка. Валю – Валеночек. А ты знаешь, доченька, ведь он царскую семью расстрелял. И на всю жизнь это запомнил. А все равно его по лагерям затаскали. Не помиловали. Хотя видишь, ради советской власти он невинных людей убил».

Как это невинных, думала я смутенно, ведь проклятые цари мучили народ, стреляли в него, издевались над ним! Надо было обязательно их убить!

Нас так учили в школе. Я не знала другой правды, да и не было ее.

Я стояла, слушала мать, водила пальцем по золотым вензелям на черном чугунном боку швейной машинки. Машинка напоминала мне черную тяжелую корову. А на корову кто-то накинул попону с золотыми, царскими узорами.

«А когда его увозили на подводе из Буяна на поселение – он так всех нас обнимал! И плакал, и кричал: я еще вернусь, вернусь!»

Мать крепко вытерла лицо падающей на пол материей. Потом она начала, среди ночи, шепотом рассказывать мне про молодого прадеда Павла. «Остались снимки... там он такой красивый... и деток красивых нарожал от Насти, да и она была хороша, полька... А про царей он нам рассказывал, сажал нас на колени и губы мне к уху прижимал, – губами щекотал... Говорил: цари были такие тихие. Смирные... Дочери – хорошенькие. Особенно ему нравилась Мария... Он все их имена помнил, а мы – путали... А потом обнимал нас и плакал. Мы его спрашиваем: ты что, деда, плачешь? Тогда он смеялся через силу и кивал: правильно, солдаты не плачут!»

Солдаты. Так я и представляла прадеда Павла – то плотника с топором в руках, то солдата – с винтовкой за спиной.

Он стоит, винтовка за плечом, закуривает махорку, а его окружают солдаты, друзья, толпятся.

...Потом все эти солдаты стали приходить ко мне во сне.

Именно солдаты, а не цари, хотя правильной было бы, если бы девочке, по девчачьему чину, снилась царская семья, гордая царица и царевны в кружевных платьицах. И бородастый важный царь.

Я потом увидела в книгах фотографии царя – в военной форме; он тоже был солдат. Для меня тогда не было разницы между офицером и солдатом. Все они в гимнастерках, и у всех суровые военные лица. Брови хмурятся. Только одни солдаты делают революцию, а другие на них нападают, чтобы красную, прекрасную революцию убить.

А потом те и другие объединяются и однажды защищают нашу Родину от страшного чужого врага.

Когда Гитлер напал на Советский Союз, прадед Павел отбывал срок в особом тайном лагере на Новой Земле. Сейчас есть мнение, что никаких таких лагерей на Новой Земле не было, ни на острове Вайгач, ни на острове Колгуев. И что все это сочинения досужих репрессированных, желающих, чтобы как можно больше было в прошлом секретного дикого страдания. Однако мой прадед Павел там, в новоземельском лагере, доподлинно сидел.

Всю войну с фашистом они просидели там, на мертвом Севере, где белые льды и красные жуткие закаты. Где медленно колыхается, варится серое ледяное олово моря. Они шили для Советской Армии тулупы и валяли валенки. Валеночки...

И убили Павла Ефимыча, прадеда моего, при попытке побега. Бежал вместе с другом. Сухарей тайком насушили, хранили под старой лодкой. Этому самому другу бежать удалось, а Павла подстрелили. Часовой, с вышки, стрелял метко. Друг снял у Павла с груди темный, позеленелый крест. На себя надел. С двумя крестами шел. Добрался до Волги, до Костромы. На барже плыл, милости ради. Донес до Самары. Отдал дочке, Наталье Павловне.

Я смутно вспоминала бормотанье бабушки: «Сидел на кухне... столы газетами покрыли... как раз пост, пирожки с картошкой матушка испекла... Крест у меня на ладони лежал, я его слезами обливала... А этот человек, царствие ему небесное, до нас добрался, как хорошо, последнюю весточку принес...»

И хорошо, ясно помнила я – на шее у бабы Наташи, на груди, чуть ниже яремной ямки, тяжелый медный крест, слишком тяжелый и большой, неженский. Такие нательные кресты носили служилые и торговые люди, солдаты, крестьяне. Мужики. Я залезала к бабушке на колени и трогала этот крест пальцем. Он не охлаждал палец, а странно обжигал.

Сейчас думаю: вот он носил крест, Павел Ефимыч. В Бога – верил. Тогда все верили. Нельзя было иначе. И все же поднял руку на царей. На своих царей.

...нет, не поднял... не стрелял...

...сейчас уж не встанет из могилы и не расскажет, как оно все было.

...Да тогда они уже не своими были, цари-то. Они уже были чужаками в поменявшей одежду стране.

Новое платье России сшили, красное.

Стрекотала швейная машинка.

Текла красная ткань из-под грубых родных рук.

Кровь родная, люди родные, – а цари чужие.

Немцы. Немчура. Чужие. Немые. Иные.

Представляла, как прадед Павел стоит, солдат, с ружьем наперевес, и ружейный ствол – на царя наставляет. Может, это он и убил последнего царя?

Честь убить царя пытались присвоить многие. Цареубийца, это же навсегда в истории! Называют разные фамилии. Разные люди пишут на эту тему мемуары. Так до сих пор никто и не знает, кто это сделал.

Когда начинается революция или война, нет правых и виноватых. У каждого своя правда, и он борется за нее.

Бабушка рассказывала не только о человеке, донесшем до семьи Павла Еремина его нательный крест; а еще об одном друге. С ним Павел Ефимыч вместе служил в красном отряде в Екатеринбурге.

Этот друг был не только прадеда друг. Но и бабы Наташи друг, так я понимала.

Потому что она так ласково и в то же время сердито называла его, будто обзывала: «Мишка Лямин». Скажет: «А, Мишка Лямин...» – и рукой махнет, будто муху отгоняет.

То ли презрительно, а то ли озорно.

Будто самого этого загадочного Мишку – смеясь, по руке бьет.

Значит, знала она его, этого Мишку.

В ящике старинного письменного стола красного дерева у бабушки, среди разных фотографий, лежала и такая: два солдата стоят перед камерой, глядят в объектив осовело. Слишком долго, видно, держал двух мужчин нерасторопный фотограф перед волшебной коробкой: никак не мог зажечь магний. Я рылась в ящике, когда бабушка уходила в молочный магазин – за кефиром, молоком и творогом, – доставала из ящика пожелтый снимок. Кто слева, кто справа? Прадеда Павла я уже узнавала: он и правда был красив. Степной и дикой красотой. Брови вразлет, фуражка надвинута на лоб, узкие калмыцкие глаза. Рядом пялился в камеру другой солдат. Ростом выше Павла Ефимыча. Длинный и нескладный. Шинель мала, чуть выше колен. Не шинель, а казачий тулуп. На башке будёновка. Глаза таращит. В отодвинутой вбок руке сжимает винтовку, крепко упирая ее прикладом в дощатый пол.

Я глядела на снимок и со сладким страхом думала: а может, это он убил?

«Мишка Лямин, – тихо говорила бабушка, разложив на столе кефир и творог, и белые, будто мраморные, яйца, и мясной горячий пирог в промасленной бумаге, глядя из-под очков на желтый, коричневый, как в печке запеченный, снимок в моих руках, – Мишка, рыжий, бесстыжий, он наш, буянский, он же ко мне сватался. А я ему отказала. Ох и рыжий! Аж красный был! Вот какой рыжий! Идет по Буяну – как фонарь горит! Издалека видно! И после гражданской войны тоже приезжал в Буян. Тоже свататься хотел. Мне сказали. Да я уже вышла за деда твоего, Степана. А Мишка – до нашей избы так и не дошел. Застеснялся. Ну что ж... Судьба такая».

А что с ним потом стало, с этим Мишкой, спрашивала я.

«До генерала дослужился», – с тяжелым длинным, как жизнь, вздохом отвечала бабушка.

...Детей интересует смерть. Может, потому, что они о ней ничего не знают, зато верно и жгуче ее чувствуют. Им не надо говорить, что все мы умрем. Им на эту тему снятся сны. Иногда снится, как их убивают; во сне они бегут, убегают, а за ними топот ног, их настигают и стреляют в них. И дети вскидывают руки и падают животом на забор. Или на кирпичную стену. Или на колючую проволоку. Или просто на землю.

У меня такой сон был. Он приходил ко мне несколько раз. Адская боль, когда в тело входит пуля. Я ощущала, как из меня льется горячее, льется кровь. Руки хватались за забор – я пыталась, уже умирая, через него перелезть. Перелезть из смерти в жизнь. Я делала над собой страшное усилие и просыпалась. Кровь, громяхая, толкалась в уши, разрывая барабанные перепонки. Меня убили, думала я дико и быстро, но вот же я проснулась, и все это понарошку.

Кровь толкалась в сердце, в губы, в глаза. Я неистово радовалась, что я жива. Я живу, и это такое счастье! Неужели я когда-то умру? Или меня убьют, как во сне?

Или – убьют не во сне?

Я запомнила, как зовут того солдата, с желтого снимка. Быть может, это он меня во сне убивал. А может, кто другой. Это уже неважно.

Когда бабушка Наталья умерла, все ее вещи достались дочерям Валентине и Тамаре. Нина, моя мать, не получила из ереминского дома ничего, ни вещицы, ни иконки, ни фотографии, ни вышитой бабушкиными руками подушки. Хотя очень просила: «Отдайте мне корзинку с последним вязаньем и спицами».

...Бабушка сидит. Вяжет. Во рту держит две спицы с янтарными шпильками-наконечниками. На столе наперсток, серебряный, с такой же янтарной головкой в дырках. Ножная финская машинка укрыта холстиной. «Ты знаешь, Леночка, они, отец и Мишка, очень дружили. Переписывались. Отец вернулся с Урала в Новый Буян – ему то и дело от Мишки почту при-

носили. А отец не умел особо писать, хотя грамотный был. Однако Мишке – отвечал. Карандашом царапал. В Буяне Павел Ефимыч стал церковным старостой. Маслобойку завел... мельничошку... А потом письма перестали приходиться. Нас раскулачили... мельничошку отняли, маслобойку покалечили... сломали... Все сломали, все».

...Все сломали, все. Но мы же наш, мы же новый мир построили!

Построили – а потом опять разрушили.

А потом опять построили.

А потом...

И так всегда.

Значит, нет выхода из круга?

Я жила и не думала об этом друге. О солдате этом. Рыжем и бесстыжем. А в последние годы вдруг стала думать и думать о нем. И видеть его. Почему-то его, а не прадеда Павла, – ярче, четче.

Что такое смерть? Это когда забывают до конца. Напрочь. А жизнь, наверное, это то, когда тебя видят и помнят.

У нас сейчас многие молодые хотят революции. Мы озираемся по сторонам, смотрим на те земли, где революции эти произошли, и хорошо видим: да, опять кровь, разруха и смерть. Ничего, кроме смерти. Но смерть проходит, и приходит жизнь. Только она уже совсем другая.

И из смерти, из войны или революции, надо выкарабкиваться страшно долго.

Страшно и долго.

Сколько усилий для того, чтобы построить новое!

А что такое новое? Может быть, это опять время?

А оно старым или новым не бывает. Оно всегда одно.

Его шьют и режут. Прострачивают очередями. Сшивают петлями виселиц. Ставят на нем огненные заплатки. А оно такое текучее, скользкое. Льется и ускользает.

Недавно мне приснилось, что в меня опять стреляют. Но я не убегаю. Я стою ровно и тихо. И смотрю убийце прямо в лицо.

Я хорошо знаю его.

Помню по желтой фотографии.

Вот здесь у него морщинка под глазом. Вот здесь, возле уха, родинка.

Он мне как брат. Родной.

...И он не опускает винтовку. Он стреляет все равно.

## КНИГА ПЕРВАЯ

### Глава первая

*«Да, бесконечно много значит **видеть**. Не видевший, не переживший войны никогда в ней ничего не поймет, это значит – не откажется от понимания, объяснения и оправдания ее.*

*Поужинав, мы прошли в оперативную штаба. Там сидело несколько офицеров: каждый за своим столом при своей лампе и в ворохе своих бумаг. За спиной у каждого карты, с синими и красными изображениями линий наших и немецких окопов. Во всем бросающаяся в глаза вытравленность всякой реальности – все: схема, цифра, сводка, исходящая, входящая, телефонограмма, радиограмма... но совсем не ночь, дождь, глина, мокрые ноги и горячий затылок, лихорадочная, бредовая тоска о прошедшем и сладкая мечта о грядущем, проклятие безответного повиновения и проклятие безответственного приказания, развратная ругань, «мордобитие» перед атакой, отчаянный страх смерти, боль, крики, ненависть, одинокое умирание, помешательство, самоубийство, исступленье неразрешимых вопрошаний, почему, зачем, во имя чего? А кругом гул снарядов, адские озарения красным огнем... О Господи, разве кому-нибудь передать это.*

*Помнишь наши споры? Я всегда утверждал, что понимание есть по существу отождествление. Война есть безумие, смерть и разрушение, потому она может быть действительно понятна лишь окончательно разрушенным душевно или телесно – сумасшедшим и мертвецам.*

*Все же, что можем сказать о ней мы, оставшиеся в живых и в здравом разуме, если и не абсолютно неверно, то глубоко недостаточно.*

*Писать дальше не могу. Сейчас приехал командир из лазарета и прислал за мной своего денщика, который утверждает, что будто есть сведения, что в Петрограде революция...*

*О если бы это оказалось правдой!»*

*Федор Августович Степун. «Из писем прапорщика-артиллериста», 1917 год*

Иней, радужно смеясь, блестел под угрюмыми фонарями Николаевского вокзала славного города Петрограда, тысячью мелких, лилипутских ножей до крови резал зрачки.

Темно и потно клубился народ, заталкивая себя, многоглавого, многоглазого, кричащего, в понуро и мрачно стоящий у перрона длинный эшелон. Теплушки и зеленые вагоны – впере-мешку.

«Дыры теплушек досками забьют. Надо бы в вагон втиснуться», – темно и бешено думал Михаил Лямин, пока толпа вертела его, сминала и качала.

Красноармейцы, штыки торчат над головами, бесполезно, бессмысленно сдерживали напирających людей. Глаза выпучены. Языки меж зубов дрожат. Пахнет потом, будто кислыми щами.

«Пот человеческий и мороз не берет. Вареву. Ложку кто в нем крутит?».

Михаил ухитрился вздохнуть, чуть развел локти, они упирались в людское темное, грязное тесто.

Их отряд, разнопестрый, вот он весь тут; эти лица он уже хорошо знает. Зачем их большевики направляют в Сибирь? Холодно там. С кем бороться? В Томске, сказали, уж собрали Совет рабочих и солдатских депутатов.

«Депутат. Слово какое... закомуристое».

Да не надо себе-то врать; всегда есть в кого стрелять. Казаки по всей Сибири встают против новой власти, а уж они вооружены, будто на охоту волчью: и ружья, и наганы, и ножи.

А они? Кто они?

Михаил, проталкиваясь ближе к вагону, озирался: рабочие с Путиловского, рожи будто дегтем перемазаны, так прочернели от станков; крестьяне из Тосно и Гатчины, бороды мочалами торчат, желтые, как у котов, глаза шныряют из-под свалевшихся от старости бровей по лбам, по верхам шапок; юнцы в нескладно сидящих шинелях – может, только с войны явились, и дивятся, что живые остались, а может, вчерашние юнкера, под красное одеяло подстелились; Михаил озирался, раскрыв рот, тяжело, хрипло дышал – и вдруг разом, будто сверху, увидел всю умалишенную толпу и в ней – себя.

Чьи-то, не Михаила, глаза, а будто бы под его лбом, жадно схватывали: вот они все, дают друг друга, – воры с Лиговки, часовщики с Карповки, балтийские рыбаки, архангельские лодочники, да, богатеи здесь тоже, вон жирные рожи, – бабы с корзинами и узлами, пишат как цыплята, вздымают поклажу над головами, чтобы не раздавили, – евреи в ермолках, еврейки в дорогих серьгах, и как еще не вырвали из ушей с мясом, бандерши и шлюхи, их сразу видать по расцветке, – плотники, матросы, грузчики, у матросни фиксы во ртах вспыхивают, пуговицы с бушлатов отлетают, хрустят под ногами толпы, – медички, курсистки, мешанки, торговки солью и козьими платками с Гостиного двора, певички из сгоревших кафешантанов, сестры милосердия в белых, монашских платках, старухи – кто попугая в клетке тащит, кто деревянный саквояж, а одна, щеки черней земли, прижимает к груди ребенка и плачет, а ребенок слепой, ямы глаз нежной страшной кожей заросли, – и солдаты, их тут больше всех, и с фронтов, и из самого Питера, и бог знает откуда понаехали, а теперь вот дальше ехать хотят – если не в Сибирь, как он и его отряд, так в Нижний, в Вятку, в Казань, в Самару, в Екатеринбург, в Челябинск, в Уфу: на Восток.

Шинели старые, тертые, собакой воняющие, новые, с торчащими грозно плечами, с раструбами широченных рукавов – в такой рукав, если в реку окунуть вместо бредня, сома можно поймать, – в дырах от пуль, в неловких смешных заплатках, с засохшей кашей под воротом, с засохшей кровью на спинах и локтях. Коричневые, мутные пятна ничем не отстирать.

«Меченые. Как и я же».

Михаил поежился – не от мороза: от воспоминания.

Шрам через всю грудь. Ранение в легкое. Под Бродами.

Тогда его и еще двести тяжелораненых погрузили в санитарный поезд, и поезд постучал колесами аж до самого Питера.

Мелькнули странные, давние белые руки и пальцы, белые простыни, белые платки с красными крестами; мелькнули в сознании, дико загорелись, вмиг сожглись и пропали. Толпа напирала, плющила.

«А шинелька-то моя тоже... того... с пятном».

Да, эта его кровь так навек и осталась у него на спине, странной тускло-кирпичной картой дикого острова посреди болотного шерстяного океана; ничем не выведешь, да и новье у командира не попросишь, да надо ли?

Теперь глядел на толпу не сверху – снизу.

Мельтешили ноги. Сапоги, валенки, разношенные боты. Подбитые кожей катанки, сапожки на шнуровке, перепачканные мазутом бурки, лаковые галоши, высокие, под колено, ботинки на кучерявом бараньем меху; и лапти, лапти, много их, так и шлепают по грязи, по снегу, по крошеву вокзального, битого дворницким ломом льда, и опять сапоги – хромо-вые купецкие, свиные солдатские, с подошвами-гирями, со сбитыми носами, рваными голенищами. За одним голенищем рукоять ножа торчит.

Михаил потрянул головой и обругал себя. «Вижу черт знает что, брежу».

Вагон был совсем рядом, и в него, матерясь, лезли люди.

Солдат рядом с ним сопел как паровоз. Ну да, ремнем утянулся, как сноп, вон как грудь выпятил. Слева наваливался грузный казак. Михаила по ногам била его шашка.

– Э-э-эй! Ну же! Что вазякается! Живей! Залезай!

На Лямина надавили сзади, и он чуть не клюнул носом по шапке того, что маячил впереди – увешанного оружием от ушей до пяток не пойми кого, солдата или разбойника: на боку револьвер, на другом – пистолет, весь обкручен, как елка новогодняя, патронной лентой, и еще странные темные бутылки на поясе висят.

«Бомбы. Эка вооружился! Тот, кто оружием обвесился, точно смерти боится».

– Граждане! Граждане! Ну вы мне щас ребры сломаети!

– И сломаем! И сломаем! Недорого возьмем!

– Давай, давай! Нажми еще! Место-то там есь ищо!

– Да никаких местов нет уж давно! Только на башки ложиться если!

– Навались, ребята!

Бабы визжали. Мужики кряхтели и орали.

Лямин сам не понял, не помнил, как оказался на вагонной подножке. Рядом с ним, впереди и сбоку, моталось знакомое лицо.

– Сашка! – крикнул Лямин. – Люкин!

– Держись, братец!

Сашка Люкин, белобрысый и дико, как кочерга, худой, слепо и хулигански подмигнул Михаилу.

Казак грубо наступил Михаилу на ногу. Он скрипнул зубами. Ткнул казака локтем в грудь. Казак его – кулаком в спину. Толкаясь и переругиваясь, они оказались внутри вагона. Духота давила хуже людской плоти. Солдат Люкин хватал воздух ртом.

– Братцы! Выбивайте окна!

– Черт! В декабре-то! Как двинемся – полегше будет!

Лямин ощупал револьвер на боку. Кобура не расстегнута; ремень не срезан. Не украли, и слава Богу.

– Эй! – крикнул Люкин. – Отряд! Все здесь?!

Нестройно, там и сям, отзывались, взлетали голоса.

– А командир наш?!

– Здесь командир! – кричали из набитого людьми тамбура. – Слушай мою команду! Всем свободные полки – занять!

Громкий хохот был этому голосу ответом.

– Да! Займешь, держи карман шире!

– Так все и растопырились, нам места уступить!

– А ты, саблей, саблей взмахни! И прогони! Испужаются!

– Обделаются...

– Га-га-а-а-а!

Бабы сидели, глядя мрачно, исподлобья, крепко прижимая к себе корзины, что-то там внутри корзин мягко, скупно оглаживая. «Кто живой там у них, что ли? Да что не клекочет, не хрюкает?»

Каждый свое сокровище с собой везет. Скарб на дорогах войны растеряется, сгорит. А тут еще революция. Все вместе, один огонь с одной стороны, другой – с другой.

Михаил толкся между полок, на них уже сидели, свешивая ноги, и лежали люди.

– Мишка! – заполошно кричал Люкин. – Гребнi суды! Лезь, быстро!

Бил кулаком рядом с собой по самой верхней, под потолком вагона, багажной деревянной полке.

– Вон кака широкенька! Уместимся обое! А я бы, честно, не тебя бы предпочел, а вон ее!

Указал пальцем вниз. Михаил перевел глаза. Напротив него странно, в гуще человеческого дорожного ада, мерцало лицо. Широкие скулы раздвигают воздух. Сильный, торчащим кулаком, подбородок; плотно, в нить сжаты губы. Прозрачные серые глаза ожгли льдинами. Он только спустя время догадался, что лицо-то женское: слишком нежное для парня, для мужика слишком гладкое.

– Эй! – надсаживался Сашка. – Лезь сюды, девка!

Женщина, оперев ладони в колени, быстро встала, взвилась. И Мишка, и Сашка увидели за ее спиной острие штыка. А на боку – кобуру. И что она в серой, грубого сукна, шинели, тоже увидели. И плечи ее широкие, мужские – увидели.

– Это ты слезай, – сказала она просто и грозно.

Голос у нее оказался такой, как солдату надо: грубый, хриплый, с потаенными звонкими нотами.

– Сестренка... – Люкин утер нос кулаком. – Ну ты чо, сестренка... А то я спрыгну, а ты – кладись...

– Шуруй! – крикнул Михаил и махнул рукой.

Люкин спрыгнул мигом.

Они оба подсадили бабу-солдата на багажную полку. Женщина сладко вытянулась, стащила с плеча ремень винтовки; Лямин пристально смотрел на ее сапоги. Комья заледенелой грязи оттаивали в вагонном тепле. Грязь становилась потеками, темными слезами стекала по сапогам.

«Воевала. Где?»

Он чувствовал исходивший от нее запах недавнего пороха.

Таким уж, слишком твердым, было ее голодное лицо. А щеки около губ – нежными, как у ребенка.

Его голова торчала аккурат напротив ее бледной, медленно розовевшей щеки.

Женщина повернула голову и беззастенчиво рассматривала его. Тщательно, внимательно, будто хотела навек запомнить. Ему показалось, у нее между ресниц вспыхивает слезный огонь.

– Вы это, – Лямин сглотнул, – есть хотите?

Она молча смотрела.

– А то, это, у меня ржаной каравай. И... селедка. Сказали – норвежская!

Женщина закрыла глаза и так, с закрытыми глазами, перевернулась на бок, лицом к винтовке. Обхватила ее обеими руками и прижала к себе, как мужика. Люди в вагоне орали, стонали, вскрикивали, и Лямин с трудом услышал в месиве голосов женское бормотанье.

– Ты не думай, я не сплю.

В полутьме поблескивал штык.

«Уснет, и запросто винтовку у ней отымут. Это лучше я буду не спать».

Подумал так – и с изумлением наблюдал, как Сашка Люкин укладывается на пол вагона, между грязных чужих ног, и уже спит, и уже храпит. Михаил сел рядом с Сашкой на пол, взял его тяжелую, как кузнечный молот, башку и положил к себе на колени, чтоб ему помягче было спать.

И сам дремал; засыпая, думал: «А ведь она сказала мне – «ты»».

Колеса клокотали, били в железные бубны, встряхивали вагон. Они уже ехали, а им казалось, что все еще стоят.

...Командир отряда, Иван Подосокорь, над людскими головами, над чужими жизнями, стронутыми с места, кричал им, красным солдатам:

– Молодцы мои! Вы, молодцы! Дорогая дальняя, а вы бодрей, бодрее! Хорошее дело затеяли мы. Все мы! А кто против народа – тот против себя же и будет! Поняли?!

- Поняли! – кричали с другого конца вагона. – А где едем-то, товарищ командир?
- Да Вятку уж проехали. Балезино скоро!
- Эх, она и Сибирь, значит, скоренько...

– Да што языком во рту возишь, како скоренько, ишо недели две, три тащиться... глаза все на снега проглядим...

Много народу сошло в Нижнем. Места внизу освободились; баба-солдат слезла, встряхнулась, как собака, вылезшая из реки, дернула плечами, пригладила коротко стриженные волосы. Михаил уже ломал надвое темный, чуть зачерствелый каравай, тянул половину женщине.

- Протведайте, прошу.

Она усмехнулась, опять плечами передернула. Он вообразил ее голые плечи, вот если бы гимнастерку стащить.

Протянула руку и не весь кус схватила, а пальцами – нежно и бережно – отломил. В рот сунула, жевала. Глаза прикрыла от блаженства.

- Спасибо, – сказала с набитым ртом.
- Да вы берите, берите все.
- Ты добрый.

Взяла у него из рук и обеими руками отломил от половины еще половину. Ела быстро, жадно, но не противно. Рот ладонью утерла.

Глаза, серые, холодно-ясные, в Михаила воткнулись.

О чем-то надо было говорить. Колеса стучали.

- А вы... на фронте... на каком воевали?

– В армии Самсонова.

– Ах, вот что.

– А ты где?

– А я у Брусилова. Ранило меня под Бродами. Там наступали мы.

– Наступали, – усмехнулась. – Себе на судьбу сапогом наступили.

– А вы считаете, что, революция – неправда?

– Я? Считаю? – Ему показалось, она сейчас размахнется и в лицо ударит его. – Я с тобой – в одном отряде еду!

- В каком отряде? В нашем? В Подосокоря?

– Дай еще хлеба, – попросила.

Он протянул ржаной. Она ломала и ела еще. Ела, пока зубы не устали жевать.

- А пить у тебя нет?

Михаил смотрел ей прямо в глаза.

«Глаза бы эти губами выпить. Уж больно холодны. Свежи».

- Нет. – Развел руками. – Ни водки, ни самогонки. Ни барских коньяков.

Она засмеялась и тихо, долго хохотала, закинув голову. Резко хохот оборвала.

Люкин лежал у них под ногами, храпел.

Состав дернулся и встал. Люди вываливались, а вваливались другие.

- Ты глянь-ка, дивися, на крышах даже сидят!

– Это што. От самого Питера волоклись – так на приступках вагонных народ катился.

– Кого-то, глядишь, и ветерок сшиб...

– Шас-то оно посвободней!

– Да, дышать можно. А то дух тяжелый!

Бодрый, нарочито веселый, с воровской хрипотцой, голос Подосокоря разносился по вагону.

– Товарищи солдаты! Мы – красные солдаты, помните это! На фронте тяжело, а на нашем, красном фронте еще тяжелей! Но не опустим рук! И – не опустим оружия! Все наши муки,

товарищи, лишь для того, чтобы мы защитили нашу родную революцию! И установили на всей нашей земле пролетарскую, верную власть! Долой царя, товарищи! Едем бить врагов Красной Гвардии... врагов нашего Ленина, вождя! Все жертвы...

Крик захлебнулся, потонул в чужих криках.

Женщина покривила губы.

– Про жертвы орет, ишь. Мало мы жертв видали, так выходит.

Лямин глядел на ржаную крошку, приставшую к ее верхней губе.

Она учуяла направление его взгляда, смахнула крошку, как кошка лапой.

– Может, мы и не вернемся никто из этих новых боев! – весело кричал Подосокорь. – Но это правильно! Кто-то должен лечь в землю... за светлое будущее время! За счастье детей наших, внуков наших!

– Счастье детей, – сказала женщина вдруг твердо и ясно, – это он верно говорит.

– Вы, бабы, о детях больше мыслите, чем мы, мужики, – сказал Лямин как можно вежливо. А получилось все равно грубо.

– А у тебя дети есть?

Опять глядела слишком прямо, зрачками нашла и проткнула его зрачки.

– Нет, – сказал Михаил и лизнул и прикусил губу.

Женщина улыбнулась.

– Этого ни один мужик не знает, есть у него дети или нет. А иногда, бывает, и узнает.

– Будем сильны духом! – звенел голос командира. – Уверены в победе! Победим навязанную нам войну! Победим богатых тварей! Победим врагов революции, ура, товарищи!

Весь вагон гудел, пел:

– Ура-а-а-а!

– Гладко командир наш кричит, точно лекцию читает, – передернула плечами женщина, – да до Сибирюшки еще долго, приустанет вопить. Смена ему нужна. Может, ты покричишь?

Лямин сам не знал, как вырвались из него эти злые слова.

– Я к тебе с заботой, дура, а ты смеешься надо мной!

Ноздри женщины раздулись, она вроде как перевела дух. Будто долго бежала, и вот устала, и тяжело, как лошадь, дышит.

– Слава богу, живой ты человек. И ко мне как к живому человеку наконец обратился. А то я словно бы в господской ресторации весь путь сiju. Только веера мне не хватает! Обмахиваться!

Уже смеялась, но хорошо, тепло, и он смеялся.

– А тебя как звать-то?

– Наконец-то спросил! Прасковьей. А тебя?

– Михаилом. А тебя можно как? Параша?

– Пашка.

– Паша, может?

– Пашка, слышал!

Он положил руку на ее руку.

– Пашка... ну чего ты такая...

Опустил глаза: через всю ее ладонь, через запястье бежал, вился рваный, страшный синий шрам. Плохо, наспех зашивал рану военный хирург.

– Что глядишь. Зажило все давно, как на собаке, – сказала Пашка и выдернула из-под его горячей, как раскаленный самовар, руки свою большую, распаханную швом крепкую руку.

\* \* \*

Залпы наших батарей рвали плотный, гаревой ветер в клочки, и Михаил дышал обрывками этого ветра, его серыми влажными лоскутами – хватал ртом один лоскут, другой, а плотная серая небесная ткань снова тянулась, и снова залп, и снова треск грубо и страшно разрываемого воздуха.

«Будто мешковину надвое рвут. И ею же уши затыкают».

Глох и опять слышал. Их полк держался против двух германских. Слышно было – австрияки орали дико; потом видно, как рты разевают, а криков не слышать.

Орудия жажали мерно и обреченно, в ритме гигантского адского маятника, будто эти оглушительные аханья, рвущие нищий земной воздух, издавала невидимая огромная машина.

Лямин тоскливо глядел на мосты через грязную темную, тускло блестящую на перекатах мятой фольгой реку.

«Мосты крепкие. И никто их теперь-то не взорвет. И подмогу – по мостам – они, гаденыши, пришлют. Пришлют!»

Ахнуло опять. Под черепом у Михаила вместо мыслей на миг взбурлилась обжигающая каша, и хлюпала, и булькала. Показалось, каша эта сейчас вытечет в кривой разлом треснувшей от грохота кости.

... снова стал слышать. В дымном небе висел, качался аэроплан. Рота, что укрылась в кустах у реки, стреляла по авиатору, по стрекозиной растопыренным дощатым крыльям.

«Ушел, дрянь. Спас свою шкуру».

Хилый лесок устилал всхолмия. Лесок такой: не спрячешься от снарядов, но и растеряешься среди юных березок, кривых молодых буков и крепеньких дубков.

«Лес. Лечь бы в траву под дерево. Рожу в траву... окунуть... об траву вытереть...»

Он нагнул лицо к руке, мертво вцепившейся в винтовку, и выгибом запястья зло отер пот со лба и щек.

Рядом с ним широко шагал солдат Егорьев, хрипло выплевывал из глотки не слова – опять шматки серой холстины:

– За всяким!.. кустом!.. здесь!.. зверь! Сидит!

И сам зверски оскалившись, умалишенно хохотал, то ли себя и солдат подбадривая, то ли вправду сходя с ума.

Грохот раздался впереди, шагах в ста от них.

Солдаты присели. Кое-кто на землю лег.

Егорьев сплюнул и зло глянул на продолжавшего медленно, будто по минному полю, идти Лямина.

– О! Вот оно и хрен-то!

Все солдаты смотрели на огромную, черным котлом, воронку, вырытую снарядом по склону лесистого холма.

– По нас щас вдарит...

Офицер Дурасов, ехавший поблизости на хилом, сером в яблоках, коне, спрыгнул с коня и передал ординарцу поводья. Обернул к солдатам лицо. И Лямин вздрогнул. Никогда он не видал у человека такого лица. Ни у тех, кто умирал на его глазах; ни у тех, кто сильно и неудержно радовался перед ним.

Из лица Дурасова исходил яркий, мощный нездешний свет.

– Полк! – заорал Дурасов натужно. – Полк, вперед!

Лютый мороз зацарапал Лямину потную, под соленой гимнастеркой, спину. Полы шинели били по облепленным грязью сапогам. Он бежал, и вокруг него солдаты тоже бежали. Этот бег был направлен, он так понимал, не от снарядов, а именно к ним, это значит, на смерть, – но в этот миг он странно и прекрасно перестал бояться смерти; и, как только это чувство его посетило, тут же справа и сбоку ударили перед ними еще три снаряда: сна-

чала один, потом – сдвоенным аккордом – два других. Сильно запахло гарью и свежей землей, и вывороченными из земли древесными корнями.

– Полк! Бегом! – кричал Дурасов.

И они бежали; и Лямин глядел – а кто-то уже лежал, так и остался посреди этого молодого дубняка с разлитыми по земле мозгами, с вывернутыми на молодую траву потрохами; они, живые, бежали, и скатки шинелей давили на спины, и саперные лопатки втыкались под ребра, и котелки об эти лопатки стучали, грохотали, – и люди орал, чтобы заглушить, забить живыми криками ледяное и царское молчанье смерти:

– А-а-а-а-а! Ура-а-а-а-а!

Дурасов опять вскочил на коня и вместе со всеми орал «ура-а-а-а!». Солдаты выбежали на поляну, опять скрылись в дубраве. И снова справа ударило.

«Шестидюймовый... должно...»

Все упали наземь. Лямин повернул голову. Разлепил засыпанные шматками земли глаза. Товарищи лежали рядом, стонали. Уже подбегали санитары, с черными, сажевыми лицами; укладывали раненых на носилки. Снова в небе мотался аэроплан. Авиатор высматривал позиции врага.

«Это мы – враг. А они – наш враг».

Мелькнула дикая мысль: а эта война, она-то людям на кой ляд?! – но времени ее додумать не было. Солдаты поднялись с земли и вновь побежали навстречу огню. Дурасов скакал на своем сером хилом коньке, и лицо у него тоже было черное, страшное, – непрерывно орущее.

– По-о-о-олк! Впере-о-о-од!

Опять жажнуло, и вверх веером полетела, развернулась земля, попадали молодые дубки, и люди повалились на землю – и лежали, к ней прижавшись, ища у нее последней защиты, а Дурасову нужно было, чтобы полк шел вперед. Валились под осколками снарядов лошади под офицерами, и офицеры, раненые, откинувшись назад, медленно сползали с седел, и ноги офицеров путались в стремях, и лошади падали наземь и тяжестью своей придавливали офицерские тела, а раненые солдаты беспомощно раскидывали руки, царапая землю, беззвучно крича от боли, и земля набивалась им под ногти, под тонкую, как рыба чешуя, жизнь.

Солдаты лежали, а снаряды свистели, падали и разрывались, и Лямин утыкался лицом в землю, остро и глубоко нюхая, вдыхая всю ее, как вдыхает мужик в постели бабий острый пот, и странно, зло и весело, думал о себе: а вот я еще живой.

Гремело и грохотало, и уши уже отказывать слышать. Глаза еще видели. Глаза Лямина схватывали все, как напоследок – как медленно, будто нехотя, с закопченными лицами поднимаются с земли солдаты, и старые и молодые, они теперь все сравнялись, возраста не было, времени тоже: была смерть и была жизнь, а еще – земля под ногами, развороченная взрывами, такая теплая, выбрасывающая из себя вверх, к небу, стволы и листья, будто желающая деревьями и листьями обнять и расцеловать вечно недостижимое, холодное небо.

И тут Лямин сам не помнил, как все это у него получилось. Как все это взяло да случилось: будто само по себе, будто и не он тут все это содеял, а кто-то другой, а он, как в синема, наблюдал.

Он встал сначала на колени, быстро оглядел перед собою землю, лежащие недвижно и ворочающиеся в тяжелой боли, в предсмерть, тела, потом быстро, уткнув кулаки в землю, вскочил, обернулся к солдатам и офицерам, что еще на живых, еще не подстреленных конях скакали поблизости, крепче зажал в руке винтовку, поднял ее над головой и крепко, дико потряс ею, а потом разинул рот шире варежки и крикнул так зычно, как никогда в жизни еще не вопил:

– По-о-о-олк! За мно-о-о-ой!

Побежал. Сапоги тянули к земле, гирями висели. Ноги заплетались. Он старался их ставить крепко, мощно, утюгами.

– За веру-у-у-у! За Царя-а-а-а! За Отечество-о-о-о-о!

Бежал, на бегу прицелился и выстрелил из винтовки.

И рядом с ним свистели пули.

И он не знал, вражеские это пули или свои по врагу стреляют. Бежал, и все.

Бежал впереди, а полк, топоча, давя сырые листья и влажную пахучую землю, бежал за ним, и дубовые ветви били их по лицам, и лес то расступался, то густел, и падали люди, и оставались лежать, и бежали рядом, и просвистело слишком близко, Лямин скосил глаза и увидел, как подламываются ноги серого в яблоках офицерского конька, и вываливается из седла офицер Дурасов, как ватная рождественская игрушка, и тяжело падает головой в траву; фуражка откатилась, конь дернул ногами и затих, а Дурасов глядел белыми ледяными глазами в небо, будто жадно раскрытым мертвым ртом – выпить до дна все небо хотел.

– Ура-а-а-а! За Царя-а-а-а-а! – вопили рядом.

Все бежали, и он тоже. Его обогнали, он уже не бежал первым. Свежо и ласково пахло близкой рекой.

Они, кто живые, подбежали к окопам у реки, а вдаль уже виднелись крыши деревни, и Лямин, по-прежнему сжимая в кулаке винтовку так, что белели пальцы – не разогнуть, видел – высовываются из окопов головы, освещаются измученные лица улыбками:

– Братцы! Братцы! Неужели!

– Ужели, ужели... – бормотал Лямин.

Он присел и сполз на задку в сырой, отчего-то пахнувший свежей рыбой окоп. Окоп был узкий, неглубокий, заваленный мусором, с плывущей под сапогами грязью.

– Братцы! Солнышки! Да неужто прорвались!

Обнимались.

Кто-то плакал, судорожно двигая кадыком. Кто-то беспощадно матерился.

Над окопом стояли прыгнувшие с коней офицеры. Лямин видел перед глазами чьи-то мощные, как бычачьи морды, сапоги. Черный блеск ваксы, будто поверхность озера, просвечивал сквозь слои грязи и глины.

– Кто полк поднял в атаку? Ты? Имя?

Михаил сглотнул. Ему ли говорят?

– Ты, слышь, на тебя офицера глядеть...

– Чего молчишь, в рот воды набрал? Аль не тебе бают?

– Лямин. Михаил. Ефимов сын!

Ему показалось, громко крикнул, а рот едва шевелился, и голос мерк.

– К награде тебя приставим! К Георгию!

Его тыкали кулаками в бока, стучали по плечам, подносили курево.

– Слышь... Георгия дадут...

– Дык ето он, што ли, вас сюда привел?.. Ох, братцы-и-и-и...

В пальцах, невесть как, оказалась, уже дымила сигарка. Он курил и ни о чем не думал. Сырая мягкая окопная глина плыла под сапогами, и он качался, как пьяный.

Гармошка деревенской свадьбы вдруг запела подо лбом.

Он отмахнулся от музыки, как от мухи.

– Милый... да милый же ты человек...

– Вот, ребята, и смертушка яво пощадила... не укусила...

– Молитесь все, ищо бои главные впереди...

Лямин курил, и дым вился вокруг пустой, без единой мысли, головы.

Он и правда плохо стал слышать.

«Контузило, видать».

Вдруг рядом заорали бешено:

– А-а-а-а! Кровища из няво хлещеть! Она, из боку!

Он выронил сигарку и изумленно скосил глаза. Ни удивиться, ни додумать не успел. Повалился в окопную грязь.

...его били по щекам, поливали водой из фляги.

Он открыл глаза и ловил струю ртом. Грязную и теплую.

...потом полили спиртом, у офицера Лаврищева во фляге нашелся; перевязали чем могли. Крови потерял толику, да вокруг резво, резко смеялись, скаля зубы:

– Царапина! Повезло!

Подбадривали.

Он смеялся тоже, так же хищно и весело скалился.

Странно чувствовал колючесть, небритость и даже бледность своих впалых щек.

\* \* \*

– Не бойся... не бойся...

Он все шептал это, глупо и счастливо, а скрюченные руки его, собачьи лапы, разрывали слежалый лесной снег, пытаясь добраться до земли.

Солдат Михаил Лямин хотел закопать в зимнем лесу девчонку, испоганенную и убитую им.

Стоя на коленях, он все рыл и рыл руками-лапами холодное снеговое тесто. Рядом лежал труп. Девочка совсем молоденькая. Ребенок. Сколько ей сравнялось? Двенадцать? Десять?

«Рой, рой, – приказывал он себе, шептал стеклянными колючими губами, – рой живей. А то найдут, не успеешь грех покрыть».

Ощутил на груди жжение креста. Роющие руки убыстрили движенья.

Перед глазами мелькало непоправимое. Как было все?

...Ворвался в избу. Гулкие холодные сени отзвучали криком-эхом. Метнулись юбки, расшитый фартук. Набросился, будто охотился. Да ведь он и охотился, и дичь – вот она, не уйдет.

Девчонка успела распахнуть дверь в избу, да он упредил ее. Цапнул за завязки фартука, они развязались; схватил за плечо. Девка заверещала. В дверях показалась старуха, подняла коричневые ладони, закричала. Накинув девке согнутую руку на шею, другой рукой вытащил наган из кобуры. Бабка упала и захрипела. Девчонка хныкала. Он связал ей руки бабкиным платком. Вытолкал со двора, как упрямую корову.

Гнал в лес: она, босая, семенит впереди, он – стволом нагана тычет ей в лопатки.

«Черт, мне все это снится! Снится!»

Ноги и его, и ее вязли в снегу. Потом неожиданно тихо и легко заскользили по твердой и толстой наледи.

«Ух ты, я как по морю иду. По воде! Ешки, как Христос!»

Так скользили меж кустов. Обмерзлые ветки били девку по глазам. Она защищалась связанными руками.

Так же выставила, защищаясь, вперед руки, когда он решил: все, тут можно, – и ударом кулака повалил ее на снег, в сугроб.

Ее голова утонула в сугробе. Он дрожал над безголовым телом. Она силилась повернуться со спины на живот. Дергала руками, хотела разорвать узел платка; но связал он крепко. Сучила ногами. Михаил рвал на себе ремень, портки.

Обсердился, выхватил из-за голенища нож; быстро, твердой рукой, разрезал на девке кофту, платье. Нож обратно засунул.

...Разодрал, как курицу, под густо усыпанным снегом кустом.

Слышал свое хриплое дыханье. Легкие гудели старой гармонью.

Девка сперва дрожала, кричала, потом паровозом запыхтела; он налег ей на губы небри- той щекой, чтобы заглушить крики. Она укусила его в щеку. Он, продолжая ее сжимать и тер- зать, заругался темно. Потом уткнулся носом ей за ухо. Туда, где сладко и тонко пахло неж- ным, детским.

...Отрядный крикнул – он узнал его голос:

– Лямин! Балуй! – как коню.

...И это была всего лишь война; всего лишь сон; всего лишь зажженная и погасшая спичка, – а он так и не успел прикурить, не успел насладиться.

\* \* \*

Германцы прорвали фронт на ширину в десять верст.

Германцы торжествовали. Они бежали по полям, по пригоркам, даже и особенно не таясь, не пригибаясь, – наперевес держа винтовки, с перемазанными грязью и пылью рожам, пере- кошенными в почти победном, торжествующем крике. Кричали захлеб и бежали, и Михаилу казалось – под их ногами гудит земля.

Белый день, и ясное солнце, и при таком чистом, ясном свете видны до морщины все лица – изломанные воплем и искаженные болью. Русские солдаты выскакивали из окопов как ошпаренные. Враги не набегали – наваливались. Шли серой волной.

А перед волной шинелей моталась и рвалась волна огня.

Лямин, сморщившись от боли в недавней ране, перескочил через убитого, через другого, запнулся, повалился на колено, вскочил.

– Австрияки-и-и-и-и! – как резаное пороса, вопили солдаты.

Кроме штыкового боя, их не ждало ничто; и штыковой бой начался быстро и обреченно.

Лямин бессмысленно оглянулся. Губы его вылепили:

– Батареи... где же... пулеметы... ребята...

Германцы катились огромной серо-синей, почти морской волной. Живое цунами осе- дало. Спины горбились. Штыки вонзались в шеи и под ребра. Вопли русских и вопли врага слепились в единый ком красного, горячего дикого крика.

И тут заработали пулеметы. Лямин размахнулся, всадил штык в идущего на него грудью австрияка – и рухнул на колени, и шлепнулся животом в грязь.

«Еще не хватало... чтобы свои же... подстрелили... как зайца...»

Ор взвивался до небес. Небеса глядели пусто, голо, бело.

Слишком ясные, безучастные плыли над криками небеса.

Германцы бежали и бежали, и рубили воздух и русские тела штыками, и остро и солено пахло; Михаил раздувал ноздри, скользко плыла вокруг рук и живота земля, и солью шибало в нос все сильнее, солью и сладостью, и вдруг он осознал – так пахнет кровь.

Ее было уже много вокруг, крови. В ней скользили сапоги. Ее жадно впитывала, пила земля.

Земля сырела от крови. Михаил скосил глаза: рядом стоял офицер Лаврищев, он палил из револьвера куда попадет – в белый свет, как в копеечку.

Лаврищев стрелял зажмурившись. Плотно, в нитку сжав губы. Лаврищев не видел, как на него тучей под ветром несется австрияк. Широкий, как таежная лыжа, штык уже рвал гим- настерку и вспарывал тело. Лямин воткнул австрияку штык в живот. Враг повалился, он упал слишком медленно, и медленно, смешно падала его винтовка. Упали вместе. Лаврищев разле- пил белые пустые глаза.

– Что... кровь?... – невнятно сказал Михаил и протянул руку к подбородку офицера.

Лаврищев зубами прокусил себе обе губы.

По губам Лаврищева, по подбородку текла кровь и стекала по шее за глухо застегнутый воротник гимнастерки.

– Ваше благородие... – прохрипел Михаил и непонятно как и зачем, нагло, глупо, ладонью вытер офицеру кровь с губы.

И тут раздалась трещотка выстрелов – сзади ли, спереди; колени Лаврищева подкосились, и он повалился в грязь рядом с убитым Ляминным германцем.

Он и мертвый продолжал дико, железно стискивать в кулаке револьвер.

Солдаты выскакивали из окопов и опять валились туда. Кто: наши, враги, – уже было все равно. Из окопных ям доносились крики и хрипы. Лямин увернулся от летящего ему прямо под ребра штыка, сам быстро и мощно развернулся и ударил. Штык вошел в плоть, Лямин резко дернул винтовку назад и выдернул штык из тела врага. Под ноги ему валился мальчик. Лямин ошалел. Отшагнул. Ловил глазами ускользящие глаза подростка-солдата. Юный австрияк, выронив винтовку, шарил скрюченными пальцами по воздуху.

«Ах-ха... какой... молоденький...»

Мальчишке на вид сравнялось не больше четырнадцати.

«Брось... нет... не может быть того... таких в армию-то не берут цыплят... украдкой, что ли, убог...»

Мысли порвались в клочья и улетели по свежему ветру; люди обступали людей, люди убивали, нападая, и защищались, убивая. Лямин спиной почувал: сзади – смерть, – повернулся, взмахнул прикладом и раскрыл череп бегущему на него, громко топочущему по земле гололобому австрияку. Австрияк осел на землю. Рот его еще кричал, а глаза застыли, и из разбитого черепа на жадно дымящуюся землю текло страшное безымянное месиво, похожее на снятое утрешнее молоко.

Артиллерия старалась, пулеметы били и рокотали, то и дело захлебываясь, и с той, и с другой стороны. Лямин слышал русскую ругань, немецкие проклятья.

«Боже... сколько ж нас тут... а черт его знает... тысячи тысяч...»

Вдруг он как-то странно, разом, увидел это жуткое поле, где в рукопашном бое схватились два полка – русский и германский, – летел над землей и видел головы, затылки, узкий блеск штыков, – из поднебесья они гляделись узкими, уже кухонных ножей, – месилось бешеное тесто голубо-серых австрийских шинелей и болотное – русских, и чем выше он поднимался, тем плотнее смешивались эти слои – голубой и болотный; еще выше он забрал, и цвета шинелей окончательно смешались, образовалось одно вспучивающееся, серое, цвета голубиных крыльев, тесто, и на него ложились тени облаков, облака оголтело мчались и то и дело заслоняли солнце, воздух рвался на черные, белые, серые, голубые, грязные тряпки, рвалась и летела вверх вырванная с корнем взрывами трава, рвалась и плакала земля. Он все выше забирал в небо, и ему совсем не странным это сначала казалось, а потом он словно опомнился – и как только опомнился, опять оказался в гуще несчастных людей, пытавшихся убить друг друга, в отвратительном человеческом вареве. И тогда понял – ранен; и понял – в спину; и понял – не убит. Еще не убит.

Еще – не умер.

– Еще... не...

Штыки лязгали друг о друга. Рвались гранаты.

Лямин лежал на земле, а земля вокруг плыла и раздвигалась, и он непонятно, мягко и сильно вминался в нее, проваливался, и понимал: это кто-то наступает сапогами ему на спину, – и рядом валялась винтовка, чужая винтовка, германская, и он тянулся к ней, пальцы превратились в огромные когти, он пытался дотянуться и схватить, и не получалось.

Чей-то тяжелый, как цирковая гирия, сапог наступил ему на руку; и запястье хрустнуло.

«Раздавил... сволочь...»

Лямин хотел завопить, но губы только трудно разлепились и бессильно, беззвучно захлопали друг о дружку, как сырые крылья вымокшей в грязной луже птицы.

Люди рычали, клочкотали, как котлы с кипятком, валились, ползли и куда-то бежали; сцеплялись и, соединенные в страшном последнем объятии, падали на землю и катались по ней, стремясь зубами дотянуться до чужой глотки, чтобы – подобно зверю – перегрызть.

– Мишка! Ты?!

Пальцы Лямина сгибались и разгибались, кровь пропитала подкладку и верх шинели. Темно-красное, грязное пятно расплзлось по спине, и он этого уже не видел: он уже не летел над битвой. Он был просто тяжелораненым солдатом, и он лежал в грязи.

– Бегут! Бегу-у-у-ут!

Край сознания, как лезвием, резанула счастливая мысль.

«Наши... переломили...»

В теплом соленом воздухе пахло спиртным.

Сладкий, приторный запах. Коньяк ли, ром.

Звон стекла: кто-то штыком отбил горлышко бутылки.

И прямо рядом с ним, лежащим, уже, может, умирающим, – пил; и Лямин слышал, как громко, жадно глотает, чуть не чавкает человек; солдат? офицер? – все равно. Булькает питье. Живое питье. Живой человек пьет.

«А я что, умер разве?»

Пальцы, скрюченные, воткнулись в грязь и процарапали ее, как сползающую, сторевавшую вонючую кожу.

– Дай... мне...

Человек услышал. Спиртным запахло плотнее, острее.

Рука поднесла к его губам пахнущее господским напитком стекло.

Он стал глотать и обрезал сколом губы.

Кровь текла из спины, коньяк тек кровью, губы пачкала кровь, щекотала шею.

– Ты лежи... Щас тебя наши... подберут... жив!..

«Жив, жив, жив», – пьяно, светло билось под набухшими кровью надбровными дугами.

Налетали клубы плотного черного дыма; это были не газы, слава богу, не они; так смрадно чадили ручные гранаты австрияков.

Воздух пах ромом, коньяком, кровью, грязью и вывороченными из земли корнями деревьев и трав.

Лямин заплакал, лежа на земле, и из глаз у него вытекали пьяная кровь и горячий коньяк. А может, ром, черт их разберет, иноземные зелья.

...И германцы, и русские спешили, до захода солнца, прибрать своих раненых.

Не до убитых уж было.

Выстрелы понемногу стихали. Ночь опускалась – черным платком на безумную канарейку.

Наконец настала такая тишина, что в окопах стало слышно, как поют птицы.

Полковой хирург вытащил пулю из спины Лямина, из-под ребра. И опять ему повезло: хребет не задет, заживет – будет ходить, и бегать будет. И – баб любить.

Вытаскивал без наркоза: чтобы утишить боль, дал глотнуть Лямину из своей фляги.

Потом вставил ему меж зубов палку.

Лямин пьянел и трезвел, и грыз палку, и стонал, и хорошо, что не орал – он разве дите, орать? Боль, когда резали и пулю из него тащили, казалась странным огромным чудищем, зубастым, черным как уголь, с дымной пастью, – из бабкиных сказок.

– Ты... ты... тишей... тишей...

Косноязычие вытекало из взнузданного рта пьяно, шепеляво.

– Да я и так уж осторожно с тобой, приятель... осторожней-то некуда...

Называл хирурга на «ты», – то ли в бреду, то ли запанибрата.

Когда рану зашивали – скрежетал зубами. Когда зашили – выдохнул, захохотал без звука, затрясся; и сам вдруг понял, что не смеется, а плачет.

– От радости? Что все кончилось? – спросил хирург, гремя рукойником, вытирая дрожащие пальцы об окровавленный фартук.

Палку вытащили у него изо рта. На языке остался винный вкус зеленой, свежесодранной коры.

Лямин уже не слышал. В ушах вдруг поднялась волной, встала на дыбы и обрушилась на затылок канонада, оглушила, придавила, погребла под собой, и он, распластавшись лягушкой, раскинув руки-ноги, будто парил в ночи летучей мышью, животом ощущая под собой не доски хирургического военного стола, а пух ненужных нежных облаков, падал и падал на близкую, такую теплую, желанную землю, все падал и никак не мог упасть.

\* \* \*

...Пашка видела противогаз не в первый раз. Однако он, как живой, выскальзывал из ее рук и странно, страшно блестел круглыми стеклами, – в них должны смотреть человечьи глаза. Ее глаза.

– Ты, давай... напяливай...

Она раздувала ноздри, и голову кружило, будто она одна выпила четверть водки. Глаза слезились.

Натаскивала противогаз на голову, резина больно рвала, вырывала волосы.

«Я похожа в нем на индийского слона».

– По окопам!

Солдаты прыгали в окопы, валились черными мешками: ночь красила все черной краской. Пулеметный грохот то стихал, то взрывался опять. По траншее солдаты осторожно стали перемещаться ближе к передовой; Пашка оглядывалась – у многих на руках, на шеях, поверх штанин белели наспех обмотанные бинты.

«Раненые... и тоже – в атаку хотят...»

Солдаты встали в ряд. Плечо вжималось в плечо. Многорукий, многоногий, многоглавый змей. Сейчас змея будут терзать; поджигать; протыкать; колоть и резать. А он, несмотря на отмирающие члены, все будет жив. Жив.

Пашка слышала свист пуль. И все шептала себе под нос: не впервой, не впервой, – будто этим «не впервой», опытным и насмешливым, пыталась себя успокоить. Свист снаряда звучал страшнее. Он разрывал уши. Вот опять! Они все повалились на дно траншеи. Пашку и солдат, стоявших с ней плечо к плечу, обдало кровью и грязью. Коричневое, черное, красное сладко, жутко ползло по кривым лицам, затекало в разодранные криками рты.

Ночь шла, но не проходила. Она просто не могла сдвинуться с места. Она застыла, и застыла грязь, и застыли звезды, и стыли на ветру, под вонючими газами брызги и лужи крови.

Сапоги командира застыли на краю траншеи. Пашка застыло глядела на них. Носы сапог странно, дико блестели сквозь грязь и ужас.

– Братцы! Наверх! Живей!

Стыло блеснул под Луной штык винтовки, что вздернула вверх рука командира.

Все полезли из траншеи, молясь, шепча, матерясь, тихо вскрикивая: «Мама, мама...»

Офицеры стояли, все до одного, с нагими саблями. Сабли ледяно застыли, отражая мертвый лунный синий свет.

Человек думает всегда, да; но тут и мысли застыли; они больше не шевелились в убитой страхом и бессловесной молитвой голове. Пашка не пряталась за спины солдат. Они все уже стояли над траншеей. Поверх ямы. Поверх земли; поверх смерти.

Вражий пулемет строчил усердно и горячо. Солдаты около Пашки, справа и слева, падали. Она – не падала.

«Кто это придумал?! К ответу – за это – кого?!»

Стон разрезал, вскрыл ей грудь. Вот сейчас она перестала быть солдатом Бочаровой.

Смертельно раненый солдат стонал, как обгоревший на пожаре ребенок.

Стон разрезал ее, а спину хлестнул длинной, с потягом, плеткой дикий крик:

– Впере-о-о-о-од! Братцы-ы-ы-ы-ы!

Те, кто были еще живы, сначала медленно, потом все живей передвигали ноги по застылой, скованной ночным морозцем земле; шли еще быстрее, еще; вот уже бежали. Небо вспыхнуло и раскололось.

«И небеса... совьются в свиток...»

Края рваных мыслей не слеплялись, как края сырого пельменя или пирога. Они бежали вперед, все вперед и вперед, так было приказано, и даже не командиром – кем-то сильнейшим, лучшим и высшим; тем, кого надо было беспрекословно слушаться, и они слушались, бежали и стреляли, на бегу неуклюже передергивая винтовочные затворы.

– Ребята-а-а-а! Проволока-а-а!

Они, слепые от страха и огня и ненависти, не видели, что добежали до вражеских заграждений.

Остановились. Таращились на проволочные ржавые мотки. Пашка подхватила под локоть раненого солдата.

– Петюшка... слышь... ты только не упади... продержись...

– Мы сейчас, – хрипел солдат Петюшка, – щас все тут... на проволоке этой... на веки вечные повиснем...

Дикий вопль приказа вспорол суконный стылый воздух. Ночь не двигалась ни туда, ни сюда. Смерть, ее черный лед невозможно было разбить ни пешней, ни топором, ни штыком.

Живой ли человек отдал приказ? А может, это задушенно крикнуло черное дупло корявого зимнего дуба?

– От-сту-па-ем!

И тут стылый воздух внезапно и страшно стал таять, огонь вспыхнул по всем сторонам, куда глаз ни кинь, везде до неба вставал огненный, смертный треск. Люди пытались бежать, идти, ползти обратно, но они потеряли направление; голос командира больше не гремел над ночным полем; солдаты безжалостно наступали слепо бегущими сапогами на раненых, раненые у них под ногами вскрикивали, молили о чем-то – верно, забрать с собой, спасти, – но человек спасал лишь себя, себя лишь нес в блаженное укрытие. Пашка бежала и оборачивалась на бегу, и видела глаза, что блестели в ночи на земле, и руки, что, корчась, с земли тянулись. Страшнее этого она не видала ничего.

Рушились в траншею, подламывая ноги, выбрасывая вперед локти, падая на животы, на бок. Сползали на задку. Кто без крови, а кто в крови. То не раны, то смех один. Раненые там, во поле, валяются. Она себя ощупала. Да вроде все хорошо с ней.

– Богородица Пресвятая, – бормотала слепо-глухо, – спасибо, матушка... пощадила на сей разок...

– Пашка, – ткнул ее солдат в бок, – у тебя, милаха, хошь какой кусок в кармане-т завался?... а?... жрать хочу, не смейся...

Она зажмурилась. В уши все ввинчивались огненные стоны тех, лежащих на земле, тех, что топтали сапогами, равняя с землей.

Она обернула вымазанное землей лицо к просящему солдату.

– Хоть бы один, Лука. – Губы ее опять мерзли, не шевелились. – Хоть бы... кроха... Солдат вдруг наклонился, будто собрался падать, и припал лбом к ее плечу.

– Пашечка!... мы-то живы...

Из-под прижмуренных ее глаз сочились слезы, прочерчивали по грязным щекам две блестящие под Луной узкие дорожки.

– Лукашка... брось...

Солдат трясся всей спиной, всем телом. Кажется, хотел Пашку обнять. Она этого испугалась.

Присела, прислонившись спиной к глинистой стене траншеи. Земля одновременно отдавала ей и свой холод, и свое тепло. Под закрытыми веками вспыхивали и гасли красные воронки.

Потом ее веки проткнули насквозь лица, маленькие, меньше спичечной головки, и ярко горящие. Лица глядели из набегающей тьмы, родные. Пашка шептала имена. Силуан. Митя. Севка. Юрий. Агафон. Евлампий. Глеб. Игнат. Ванечка.

– Ванечка... – прошептала.

У солдата Ванечки, молоденького совсем, картавого, родом из костромского Парфентьева Посада, веснушки на веселой роже странно складывались в рисунок птицы, взмахнувшей крыльями.

Ее солдаты. Ее друзья.

Горящие в ночи лица надвинулись, расширились, надавили на веки горячей, молчаливой просьбой, криком о спасении.

– Милые... иду к вам...

Пашка сама не понимала, что и зачем делает. За нее это понимало ее мощно, крепко бьющееся в ребра сердце; оно расширилось, заняло все внутри нее, разрывало ее – на слезы, на нелепые взмахи рук, на вздоги неуклюже ползущих ног. Она выползла из окопа и уже подползала по кофейной, шоколадной грязи к проволочным заграждениям русских войск, когда сзади раздался хриплый волчий вопль:

– Пашка!.. Куда!..

Она не слыхала. Ползла. Изредка там, сям рвали ночь выстрелы. Пашка ложилась лицом в грязь и замирала. Она, как лиса, притворялась убитой. Когда утихало, ползла снова. В первого раненого уткнулась голой башкой. Боднула его, как баран. Замерла. Слушала воздух. Ночь текла черным горячим грибным отваром. Пашка, не вставая с земли, закинула руку раненого себе за загривок, подлезла под него, ощутила его грудь на своей спине, на лопатках. Поползла обратно.

Солдат тяжело давил на нее – увесистый, рослый. Пашка под ним себя жуком чувствовала, копошащимся в чьем-то жестоком кулаке. Вот окоп. И солдаты лезут, раненого подхватывают, волокут. Она даже отдышаться не успела: не хотела. Ее телом двигала сила, гораздо более могучая, нежели желанье спастись.

«Спасти. Их – спасти!»

Второго волокла. Третьего. Дышала с натугой. Вместо легких в груди играла старая дырявая батькина хромка. Она опять отползала от родной траншеи и ползла вперед, ползла туда, на нейтральную полосу, и там вокруг нее то и дело рвалась тьма: стреляли, и не попадали.

«А заговоренная я».

Прижаться к земле. Вжаться в нее. Еще плотнее. Еще крепче, безусловнее.

Так прижаться, чтобы ни одна чертова пуля не царапнула тебя, не сразила.

Ночь, ты что, и вправду застыла куском черной пахучей смолы? Когда ты, мать твою в бога-душу, растаешь?

Она уже ловко подползала под раненого; уже ловчей ползла с ним на спине. Возила щекой по земле, отирая землей и грязью липкий, как мед, пот. Сбрасывала спасенного в окоп, и его тут же подхватывали на руки; и кто-то снизу крикнул пронзительно:

– Пашка! Господь не забудет тебя!

Настал миг, когда она, ловя воздух ртом, больше не могла ползти за ранеными: тело уже не слушалось. Ноги и руки люто ныли. Она столкнула в траншею последнего, спасенного ею солдата и растянулась на земле без сил. Все куда-то провалилось: и земля, и небо, и выстрелы, и стоны. Остались только боль, и мокрое ее лицо, и стыд – почему силы покинули тебя, сильная ты ведь, Пашка, а что сплеховала, так тебя и растак.

А потом и стыд улетел. Зато прилетел рассвет, наконец-то.

И сизый голубиный тусклый свет нежно, пуховой деревенской шалью, укрывал Пашку, мертво лежащую на краю окопа: куда рука, куда нога, пластается по земле зверем, землю обнимает, а земля ее несет на черном блюде, – всю ее, гордую перелетную, подбитую птицу, со всем ее пухом, костями и потрохами, перемазанное сильное, жилистое бабье тело, тяжелую простоволосую голову, и волосы уж отросли, стричь пора, и земля под ногтями, и на земле – отпечатки ладоней, и полосы крови прочерчивают землю, колкий утренний снег.

... Раненых на пункте сбора спросили, кто ж такой смелый их вынес с поля боя. Раненые в один голос повторяли: «Пашка, Пашка Бочарова».

Пашку к вечеру вызвали к командиру. Глаза ее потерянно выхватывали из сумерек медные пуговицы на командирском кителе, серебряные лопасти креста, морщинистые пальцы, виски офицера, будто усыпанные жесткой холодной порошей, – а шевелюра темная, – блеск вставного серебряного зуба, тусклую красную ягоду лампадки у иконы, над головами людей, в красном углу. У нее занималось дыхание, вдох и выдох давались с трудом. Она стеснялась этого простудного, хриплого сопения. Старалась тише дышать. Опустила глаза и глядела себе под ноги, на носки грязных сапог.

«Грязная я... И сапоги не почистила... кляча водовозная...»

– Солдат Бочарова, ближе подойди.

И командира глотка странно, с дрожью, хрипела.

Пашка шагнула вперед и чуть не наступила сапогом на сапог командира. Вплотную, нос к носу, стояли сапоги – начищенный командирский и грязный Пашкин.

– Солдат Бочарова! Награждается орденом святого Георгия четвертой степени... за исключительную доблесть, проявленную при спасении множества жизней русских солдат под огнем... неприятеля...

Пашка закрыла глаза, потом опять открыла их. Смотрела в лицо командиру.

По щекам командира катились слезы, а рот улыбался, и железный зуб звездой блеснул.

Пальцы командира смущенно зашарили по Пашкиной груди, прикрепляя к гимнастерке орден, и Пашка скосила глаза и видела, как в центре серебряного креста с тяжелыми, как у мельницы, лопастями скачет всадник на белом эмалевом коне, и в руке у всадника крохотное копьё, и им он разит змея. Голова у нее закружилась, она подняла взгляд, сцепила зубы и выпрямилась, а командир, кряхтя, все возился с орденом, не мог прикрепить, и крест все падал ему в ладонь.

Наконец получилось.

Слишком близко моталось лицо командира. Глаза в глаза воткнулись.

– Служу Царю и Отечеству! – громко выкрикнула Пашка, и щеки ее, от взбежавшей в лицо ярой густой крови, стали краснее лампы.

И случилось странное. Ей казалось – все колышется, плывет во сне. Командир обнял ее, как отец – дочь, и вытер мокрую от слез щеку об ее погон, о болотную траву гимнастерки. И, отняв лицо, ее ладонью утирался.

– Спасибо тебе, Пашенька. Спасибо. Спасибо, родная, – только и повторял, тихо и сбивчиво, еле слышно, стискивая руками ее плечи, и сквозь рукава поджигал Пашкину кожу огонь командирских ладоней, и Пашка, оборачиваясь, оторопело видела: все вокруг, в ставке, стояли навтыяжку, молча, и у всех глаза солено блестя.

\* \* \*

Война катилась, война варила свое варево, а люди – свое, и война ревновала людей к людской пище, она злобно и торжествуя разбила вражьи снарядами полевую кухню, и голод заполз в желудки солдат длинными черными червями. Очумело трещали пулеметы. Новобранцы кричали и громко молились. Отдали приказ о наступлении. Солдаты выбирались из окопов и бежали вперед, и падали, и проклинали мир, себя и Бога. А потом, лежа на земле, умирая, просили у Бога прощенья, но Он не слышал их. Дым налетал и скручивал грязной тряпкой, выжимал легкие, люди кашляли и падали, крючась, прижимая руки к животу, их рвало прямо на сохлую траву, на наледь, на липкую, как черный клей, землю. Солдаты выдвинули штыки вперед, бежали, не видя и не слыша ничего – еще живые, уже безумные. Германцы отбивались. Русские напирали. Всем казалось: еще немного, и это будет последний бой!

Пашка стояла на краю вражеского окопа, когда ее нога вдруг налилась горячей горечью и железно онемела. Она падала, не веря, что падает, и не веря, что именно такая бывает смерть. Рядом с ней орал: «Ребята! Неприятель бежит! Мы гоним его! Гоним!» С винтовками наперевес бежали солдаты, с лицами злыми и радостными. Пашка лежала, так смиренно лежит на земле лишь срезанный серпом колос, и рядом с ней так же тихо, покорно лежали раненые солдаты. Самый ближний плел языком:

– Боженька... Божечка... молю Тебя... умоляю... дай мне жить... дай...

Нога все горячела и твердела, и сапог наливался кровью, как бокал вином. Пашка глядела в небо: там сквозь лоскутья туч робко вспыхивали и гасли звезды. Она не хотела смотреть в небо. Слишком далекое, чужое было оно.

Она закрыла глаза.

«Умирать буду... да наплевать... когда-то – надо...»

Появились санитары с носилками. Взвалили ее на носилки. Несли, и тут она опять глаза открыла и мир видела – бешено ревущий, а потом опять тихий, без шороха и свиста, бедный, подорванный сумасшедшими людьми мир, и на пункте первой помощи ей промывали и перевязывали рану, и она не издала ни крика, ни стопа, ни звука. До санитарного поезда ее, вместе с другими ранеными, везли в кузове тряского грузовика, и она лежала и видела других людей, что рядом с ней лежали, не поворачивая головы – будто сама стала зрячим дощатым кузовом машины, зрячим солнцем, зрячим равнодушным небом.

Их доставили в санитарном поезде в Киев, и на вокзале, что кишел ранеными и калекками, стонал одним попрошайным, длинным липким стоном, их снова закинули, как бессловесные дрова, в новый грузовик, и долго везли, и тряслись раненые бедные тела по булыжным киевским мостовым; а в Евгеньевской больнице так же грубо сгрузили и разнесли на носилках по палатам, и уложили каждого на койку, и Пашка озиралась – кругом мужики, она одна тут баба, а как же под себя тут в судно медицинское ходить, ведь стыдоба одна!

«Значит, придется в нужник пешком шастать. Некогда разлеживаться».

Поглядела на свою забинтованную ногу. Ногу ее санитары положили поверх одеяла, как замерзшее в зимнем сарае бревно. Пришел один доктор, затем другой, после и третий; ногу мяли, ощупывали, тыкали в плотные бинты жесткими пальцами, подымали и опускали, проверяя подвижность тазобедренного сустава. Доктора говорили меж собой на красивом птичьем языке, и Пашка ловила ухом лишь отдельные слова: инъекции... боль... морфин... спиртовые компрессы... стрептоцид, йодоформ... иссечение омертвевших тканей... загрязнение

землей... хирургическое вмешательство... и еще много чего ловило ухо, ловило и упускало, и с внезапной жалкой мольбой она глядела в лица докторов, на их умные лбы, на белые снеговые шапочки: ну помогите! помогите! я не умру? не умру?.. – а потом стыдно лицо отвернула, глядела пусто, холодно в закрашенную масляной краской больничную голую стену.

«Да и пускай к чертям умру!»

Шли дни и месяцы, она дней не считала, календаря в больнице не водилось, лишь сестру милосердия можно было попытать тихонько: скажи, мол, милушка, какое нынче число? И год какой, забыла. Ей сообщали и число, и месяц, и год. На вопрос: идет ли война? – ей отвечали: а как же, идет, куда она денется, – и темным заволакивало подо лбом, и жаром полыхали бесслезные веки.

\* \* \*

Руки, ноги, головы, туловища. Оторванные ступни. Беспризорные, навек брошенные и людьми, и птицами, и небесами тела.

Не приберут. Не похоронят. Не споют литию.

Полк сидел в захваченных давеча германских траншеях. Лямину безумно хотелось есть и курить. Он не знал, чего больше хотелось. Ему все равно было, какое тут рядом село или город какой, а завтра, видать по всему, их всех ждало большое сражение; и уже давно все, и он в том числе, перестали думать, последнее оно в этой войне или будет еще сто, тысяча таких сражений, и еще сотни тысяч живых людей станут мертвецами.

Мысль притупилась. Казалось: война шла всегда, и будет идти всегда.

Лямин пытался пронизать темень взглядом.

– Не видать ничего, братцы...

– А вонь-то, вонь-то какая...

– Да, смердят.

– Трупы воняют... не могу больше терпеть, братцы...

Для тепла солдаты садились на мертвецов, чтобы не сидеть на холодной земле. Михаил вытянул ноги. Они гудели. Он положил сначала одну ногу, потом другую на валявшийся перед ним в траншейной грязи труп. Ногам стало мягче, привольней. Михаил бросил руку вбок – и пальцы ощутили мертвое лицо, мертвые чьи-то губы, нос. Он отдернул руку и выматерился.

Солдаты рядом с ним вздыхали: пожевать бы чего! – кто-то дрожал и стучал зубами так громко, что все этот костяной стук слышали. Лямин сидел на трупе и сам себе дивился.

«Вот сижу на мертвяке, и меня не тошнит, и даже не блюю, и даже... улыбаюсь...»

Он и правда попытался тихо, дико улыбнуться. Губы раздвинулись.

– Ты чо скалится, Мишка?

Он опять стиснул губы.

Его мертвец спросил? Или он сам себя спросил? Или друг, еще живой?

«Все мы тут чертям друзья. И за то, что человека убиваем – точно в аду поджаримся, все до единого».

Думал страшно и холодно: вот сижу на трупе, а почему так тепло, он что, не мертвый подо мной? Вытянул руку, чтобы пощупать труп, и рука вдруг попала во что-то скользкое, и вправду теплое, плывущее, расползающееся под слепыми пальцами.

Тьма не давала разглядеть, но Михаил и без того понял: под пальцами, ладонью – развороченный, взрезанный живот.

Тьма поднялась изнутри, дошла до глазных впадин и застлала, смяла обрывки мыслей.

Он еще миг, другой сидел на еще не остывшем трупе; еще держал руку в чьем-то разорванном брюхе, еще пальцы щупали скользкость кишок; и не помнил, как руку вынул, и не чувял, как, мягко заваливаясь набок, упал.

... очнулся в блиндаже. В лицо ему остро светил электрический фонарь.

– Очухался. Солдат! Эй!

Михаил щурился на свет.

– Фамилия!

– Лямин.

– Сесть можешь?

Лямин, кряхтя, сел.

– Чай сейчас дадут. Удержишь?

Он протянул обе руки к подстаканнику. Обжег ладони, но руки не отдернул. Поднес чай к носу. В граненом толстом стакане коричнево, густо колыхался щедро заваренный чай – заварку добрая рука мощно сыпанула в стакан, она разбухла и заняла полстакана.

– Не обессудь, без сахарку.

Он уже хлебал чай, обжигая рот, дуя в стакан, грея руки, пил и пил, вглатывал коричневый огонь, стараясь забыть, а может, запомнить.

Вот сейчас захотелось кричать.

Он с трудом подавил крик, загнал внутрь себя, как березовым швырком.

Вокруг него, сзади и сверху пахло землей, кровью, снегом и горячим чаем.

Тут подоспела атака неприятеля. Снаряды лупили сначала мимо, потом все более точной становилась наводка. Прямо над блиндажом разорвался снаряд, и голос рядом тихо сказал:

– Выход бревнами завалило. А может, и землей.

«Все, это все, кончено».

Лямин все еще держал в руках горячий подстаканник, когда ахнуло так мощно, что уши пронзила толстая спица резкой, яркой боли. Он прижал стакан к груди. Чай выплеснулся ему на портки. Жажнуло еще, снаряд пробил крышу блиндажа, и на Лямина стали валиться люди. Чужой спиной ему придавило лицо. Чужой рукой – горло. Фонарь погас. Он валялся в углу блиндажа, засыпанный землей, заваленный бревнами и людьми. Убиты они или ранены, он не знал. Он мог еще думать; они уже не могли.

Снаряды выли и падали, выли и разрывались – то над блиндажом, то вблизи, то поодаль. Обстрел шел плотный и частый. Германцы не жалели боевых запасов. Лямин пошевелился, выпростал голову из-под мертвой спины. Убитый офицер. Минуту назад он угощал его чаем.

Рукав гимнастерки промок от крови.

Он вывернул руку, пытаясь рассмотреть, куда ранило.

Это осколки стакана врезались ему в локоть, в плечо.

... Приказ идти в атаку он уже воспринимал так, как автомобиль воспринимает поворот руля. Повернули – едет. Затормозили – встает. Они все и правда стали уже немного не людьми. Что-то железное, шестереночное появилось в них.

Перебрались через ничейную полосу. Лямин оглянулся: лица у солдат тяжелые, жестко-квадратные, скулы выпирают над воротниками шинелей; идут ровно, размеренно, неуклонно. Идут и знают: вот сейчас убьют.

Смерти боялись все так же. Но она так пропитывала собой все сущее, как причастное вино – причастный хлеб, что страх этот был уже не страх, а так, баловство ребячье. Над ним смеялись; над собой – смеялись.

Проволочные заграждения германцев стояли целенькие. Огонь русской артиллерии не тронул их. Солдат Рындык, Мишкин приятель, сплюнул досадливо.

– Ишь. Будто щас натянули. Не проберемся мы через эти колючки! И мечтать нечего!

Пятились.

Все пятились, а Лямин повернулся к германским окопам спиной.

Рындык ощерился.

– Ты, гли-ко, молчат, не пуляют...

И только сказал – вокруг Мишки земля встала черными веерами.

Все скопом побежали, грязь под ногами свински чавкала. Молча бежали. Враг стрелял им в спины. Вот один упал. Вот другой. Лямин сильнее сжал ствол взятой наперевес винтовки.

«Сейчас... в меня...»

Не ошибся. Пуля, пропев, вошла под колено. Еще пронзительнее пропела другая – и раздробила локтевой сустав. Третья просвистела – воткнулась в бок; стало невыносимо дышать. Тьму ртом ловил, откусывал, воздух грыз.

«Метко стреляет немец... на мушку – почему-то – подлец – меня... взял...»

Лямин еще немного пробежал, подволакивая раненую ногу. Потом боль скрутила резкой, мгновенной судорогой, и он упал.

...сколько так лежал, не мог бы сказать. Час? День? Два?

Рядом с ним умирали люди. Они просили не о жизни – о смерти.

– Боже... Господи... возьми меня скорей к Себе... не мучь Ты меня больше...

– А-а-а!.. Умереть... сдохнуть хочу...

Солнце взошло. Наползли тучи. Укрыли его – так немощную старуху укрывают теплой шалью. Тучи бежали и летели, и рвались, и снова кто-то громадный, молчащий сшивал их и размахивал ими над бездной.

«А если возьмут в плен?... да, в плен...»

Мысль о плене не казалась позорной. Это была мысль о жизни.

А боль все росла, мощнела и становилась сильнее жизни.

...он слышал голоса. Голоса возникали то справа, то слева, то поднимались, росли из-под земли, и тогда он пугался – это не могли быть голоса людей, он понимал: это голоса подземных, адовых существ, и вот оно, наказание за многогрешную жизнь, за эту войну, где погрязли они, потонули в крови и проклятьях.

«Ад, он настоящий... он – близко...»

Голоса исчезали, и он думал обнаженно и открыто, словно у него был голый мозг, без черепа, нагло подставленный всем ветрам: а ведь вот он, настоящий-то ад! Вот – он в самой его сердцевине! И не надо далеко ходить, и в старых пожелтелых Библиях его искать. Они – в аду, они сами – кровеносные сосуды ада, его сухожилия и кости, его черное нищее сердце, и оно брызгает черной кровью, и подкатывается к горлу мира, к ангельским небесам.

«Мы – и есть ад! А ангелов – нет! Есть только ад, а Бога – нет!»

Вспомнил чай, что начал пить намедни в блиндаже. Вспомнил бедного офицера. Вспомнил много чего, и нужного и ненужного; солнце стояло в зените, потом катилось вниз, в сетчатую лузу прибрежных кустов, господским, слоновой кости, бильярдным шаром.

Стреляли редко. Четко.

«Может, снайперы...»

Хотелось чаю. Хотелось горячего супу. Воображал миску с супом, и косточка дымится мозговая.

Поворачивал голову. Его рвало на занесенную снегом ржавую сухую траву.

Давно сгибли под лобной костью всякие жалкие мыслишки о санитарах, о госпиталях, о спасении, о непонятной будущей жизни, – давно уж мыслила не голова, а все израненное тело – сочащиеся кровью руки, ноги. Бок тоже мыслил; бок говорил ему: вместо меня у тебя тут уже месиво из обломков костей и крови, а может, и селезенка пулей проткнута, а почему же ты все еще живешь, скажи?

...вдали лязгали железом о железо. Железный бряк раздавался, и плыли запахи.

Пахло супом.

Германцы ели суп. Гремели котелками.

...возникла великая тьма, а потом истаивала, и вместо нее над головой, слишком близко, появлялись огромные птицы. Птицы дикой величины снижались, хлопали адскими черными крыльями, и тело понимало – это черные ангелы ада, и сейчас они у него выключают глаза. Тогда он из последних сил сжимал веки и скалил зубы.

...день умирал, рождалась ночь, и выстрелов не слышно было. Лямин лежал в поле среди мертвых; вернее, лежало то, что осталось еще на свете вместо Лямина.

Когда появились люди, у них за спинами дрожали и бились на ветру белые простыни небесных крыльев. Рот Лямина давно потерял и речь, и шепот. Губы лишь вздрагивали. По этим дрожащим губам санитары и определили: этот – живой.

– Клади, ребята, на носилки! Раз-два-взяли! Потащили!

Ангелы неба взвалили его на носилки и побежали, низко пригибаясь к земле, и редкие одиночные пули вспахивали утренний молочный, стывший туман.

...он обрел способность слышать. Ангелы говорили меж собой. Они говорили на русском языке. Он был не в плену. Он это понял.

Промыть рану. Перевяжут на пункте. Глоток спирта? Расширить сосуды. Потеря крови. Много потерял? Переливание в госпитале. Когда везти? Куда? Поезд на Москву санитарный. Поезд на Петроград? Лучше. Доставить на вокзал. Какой дорогой? В объезд?

...эхо звенело, расходилось кругами тумана: в объезд, в объезд, в объезд...

Разум не помнил ни вагона, ни поезда. Тело – помнило все: и питье, теплую, со вкусом железа, воду из кружки, что подносили ко рту, и скудную еду на станциях – суп рататуй из жестяной миски, черствую ржаную горбушку, и он здоровой рукой размачивал ее в супе; и жесткую вагонную полку, и одеяло, что то и дело сваливалось на вагонный пол, и его подтыкали то и дело; и сквозняк, и обстрелы, и вопли матерей над убитыми в поезде детьми, и карканье зимних ворон, и сбивчивую, тонкую как слеза, задыхающуюся в духоте и ужасе нежную молитву – чужой тонкий голос вел ее за собой, как гуся, вывязывал на невидимых коклюшках, колол иглами слов истончившуюся, бедную, ветхую ткань бытия.

Михаила Лямина привезли с театра военных действий в Петроград, в Дворцовый госпиталь, и положили, как особо тяжело раненого, в горячечном бреду, с его опасными и уже, за время долгого пути, воспаленными ранениями в ногу, плечо и спину, в Александровский зал Зимнего дворца.

\* \* \*

...Он старался, старался и все-таки разлепил присохшие друг к дружке веки. Ему надоела тьма подо лбом. Тьма выедала его изнутри. Сгрызла всю радость и надежду; и он стал одной белой, нищей, обглоданной костью. Уже не человеком.

Глаза робко ощупывали глубину пространства и тонули в ней. Опять выныривали.

Сознание то включалось, то выключалось электрической диковинной лампочкой; когда загоралось – хотелось кричать от боли и стыда.

Когда гасло – дышал громко, глубоко, облегченно.

Снова зажигался под черепом свет. Свет бил откуда-то сбоку, вроде как из под длинной, прозрачно и бессильно висящей гардины, из-под завихренья снящейся метели. Свет помогал рассмотреть то, чему сознание отказывалось верить.

Анфилады. Лепнина и позолота. Новогоднее сверкание хрусталя.

Стон, длинный, полный близкой смертной муки, с соседней койки.

Лямин пошевелил пальцами. Пальцы – двигались.

Почему все вокруг белое? Белое, зимнее?

«Зима? Сколько ж я тут провалялся?»

Где – тут, а сам толком не понимал. Опять голова поплыла, поехала.

...Белым коленкором затянуты стены. Чисто выбелен потолок. Лепнина громоздит ледяные гроздья. Странный стук. Он думал, это идут часы, а это стучали каблуки врачей и сестер милосердия по мрамору пола и лестниц.

Далеко разносился в белом воздухе ледяной, молоточковый стук.

Тонко, нежно тянуло съестным: нитка запаха то рвалась, то опять перед носом крутилась.

«Где-то рядом еду стряпают. Я в лазарете, это верно. Вот и на койках люди кричат. Почему лазарет похож на дворец?»

Туманно плыли, светло вспыхивали и умирали голоса. Иногда перекрещивались. Нельзя было понять, кто говорит и что. Ни одного знакомого слова.

«А может, я в плену. И это госпиталь австрияцкий».

Порывался встать. Изю всех сил уперся локтями в матрац. Боль прошла руку насквозь, а потом туго стянула ее – и кровь перестала ходить в ней туда-сюда.

Шире распахнул глаза: прямо над его головой с потолка, изукрашенного виноградной лепниной, свешивалась тяжеленная, как германский танк, массивная люстра.

Он прижмурился.

«Чего доброго, рухнет... Ринется вниз... Аккурат мне на лобешник...»

Прислушался: тихо, зимняя тишина, и снаряды не рвутся.

«А может, возьмут да подорвут все это великолепье сейчас. Как ахнет...»

Повернул на подушке увесистую, как грузчицкая гиля, голову.

В зимнем белом мареве моталась ширма, за нею кто-то тяжело, долго опять стонал.

Донесся заполошный крик:

– Сестричка!.. Мамочки! Мамочки! Ма...

Крик сорвался в белизну, треснул и раскололся бесстрастным льдом. Каблуки опять стучали. Кто-то спешил, бежал.

«Опоздали... может, он уже...»

– Доктор! Доктор! – Голос сестры взвился чисто и ярко, будто не в госпитале она стояла – на морском побережье, и чайки в выси отвратительно, пронзительно вопили. – Пожалуйста! Подойдите! Скорее!

Куда она кричала, в какую белую пропасть?

Кто-то шел, тяжело переваливаясь; чуть слышный, доносился легкий древесный хруст паркета.

– Ах ты боже ты мой...

– Доктор! Что принести? Вы командуйте! Я мигом!

– Деточка... тащите из Петровского зала шприцы... они там кипяченые стоят... в железном кювезе... прямо у входа столик, увидите... быстро!

Каблуки стучали быстро и часто, и погас, исчез дробный стук.

Ширма качалась, вздымалась и скрывала за собой то, что никому видеть нельзя было; если на полях сражений они все умирали на виду, на глазах друг у друга, у железных широколобых адских машин, у командиров и неба, то здесь, в лазарете, все должно быть шито-крыто.

– Бедный ты... – вслух прохрипел Лямин.

И не понять, кому вышептал: то ли ему, за ширмой, то ли себе.

Стук опять появился и нарастал. Превратился в легкий частый звон.

«Словно кобылка медными, бедными подковами подкована. Пьяным кузнецом...».

Из-за ширмы доносились резкие вскрики, они кромсали и протыкали насквозь белый воздух; потом снова полоумные стоны, будто кто-то то ли пел, то ли длинно, смертно плакал. Бормотанья, увещеванья, куриный клекот, зверий рык, голоса звенели и спотыкались, сыпали черное зерно бесплодных слов. Люстра над головой не качалась – висела ровно, тяжело. Не горела: темнела, она одна, мертвая, а вокруг нее медленно, странно загорались другие

люстры – одна, другая, третья, четвертая, пятая. Горящие танцевали, хороводом ходили вокруг мертвой, почернелой.

«Лампы в ней перегорели... вот какое дело-то...»

И вдруг ширма замерла. Больше не качалась. Встала прямо, как солдат во фрунт.

Высокая, складки крупные, ткань оранжевая, солнечная.

«Китайский шелк... дорогуший...»

Из-за мертвой ширмы вышел живой человек. Доктор был облачен в мятый белый халат; малорослый, он то и дело привставал на цыпочки перед высоконькой девушкой в белой косынке сестры милосердия. Лямин видел доктора в лицо, а девушку с затылка. Доктор стал что-то говорить, мелкое и жалкое, сбился, махнул рукой в резиновой перчатке; перчатку пятнала кровь, будто вино или варенье; стал другой рукой, голой, резиновую перчатку стаскивать, не смог, резина рулетом закрутилась, – и заплакал, и резиновыми пальцами растирал слезы по щекам, по серебряной, с прожилками темной стали, твердой бородке.

Доктор шевелился, а девушка застыла. Зимняя девушка, снежный мрамор. Укрыть бы ее досками, садовую статую, завалить старыми подушками и матрацами.

До ушей Лямина доносилось:

– Анатолий Карлович... Анатолий... Карлович... ну Анатолий же Карлович...

Сестра что-то важное силилась втолковать доктору, а он ее не слышал.

Стянул наконец перчатку, швырнул на паркет. Сестра наклонилась и безропотно подняла. И к сердцу прижала, как дорогое письмо.

Так шли меж коек, к выходу из белого, ледяного дворцового зала, превращенного в военный лазарет: впереди плачущий, как дитя, седобородый недорослый доктор, за ним длинноногая девушка в серой монастырской холщовой юбке и в белой косынке, тугой посмертной метелью обнимающей лицо.

Он окунулся в тяжкую вязкую тьму сна.

Долго барахтался в ней.

Сознание опять уплыло куда-то вдаль большой, с толстой спиной и огромной головой, белоглазой рыбой.

Долго ли спал, не знал. Зачем тут было что-то знать? Он ощущал: повсюду на нем – бинты, и весь он, перевязанный, охваченный ими, их выюжными витками, – плотный, будто дощатый, где плоский, как настеленный в бане сосновый пол, а где выпуклый, бревенчатый.

Тело обратилось в дерево. Если тихо лежать – не чувствуешь ничего.

И он лежал тихо.

И деревянные губы сами над собой смеялись: экое я полено, истопить мною печь.

...выплыл на поверхность зимнего мира. Ледяной мир все высил, угрюмо вздымал вокруг обтянутые белым коленкором стены. Ледяной век отсчитывал удары чужими женскими каблуками. Дрожал. Мерз. Уже колотился весь под одеялом, и не грело ни шута.

Коленки звенели чашка об чашку, и инеем изнутри покрывались кости.

Крючился. Спина выгибалась сама собою. С койки рядом донеслось напуганное:

– Эй, братец, чо, судорга скрутила?

И, будто из-под земли, из-под гладких медовых плашек паркета пробилось:

– А може, этта, у няво столбняк... грязь в рану забила, и кончен бал...

...и вдруг колотун этот кончился разом, – оборвался.

Лежал пластом. Тяжелело тело. Зад все глубже вдавливался в панцирную сетку и тощий матрац.

Все наливался, миг за мигом, расплавленным чугуном, все увеличивался в размерах. Стало страшно. Захотел позвать кого живого – глотка не отозвалась ни единым хрипом. Чугун-

ные губы мерзли: по дворцовому ледяному залу гулял ветер, шел стеной балтийский сквозняк из-под раскинутых, как бабьи ноги в минутной любви, метельных штормов.

Тяжесть давила, раздавливала внутри слепыми птенцами бьющиеся, горячие потроха.

Мишка накрепко последние силенки и выдавил – в белую зимнюю ночь, в белую тьму:

– Сестра... воды...

Слушал тишину. Коленкор мерцал искрами выюги.

Огромные, до потолка, окна светились, сияли вечными, торжественными, довоенными фонарями.

Тихо. Все тихо умирало. И он тихо и верно, могильно тяжелея. И это, могло так быть запросто, подобралась к его койке его смертушка и тяжело, поганой любовницей, ложилась на него поверх колючего лазаретного одеяла, вминалась в него.

В тишине застучали часы. Тук-тук, тик-тик. Он поздно понял, что это – не часы, каблук.

Туфли на каблуках. А может, сапожки на шнуровке, выше щиколотки.

Пахло сиренью. Зима спряталась за гардину. Метель забила в угол. Раненые стонали, жили, умирали. Над его койкой стояла сестра милосердия. Совсем молоденькая. Щечки румяные. Ручки-игрушечки. Она вертела в пальцах карандаш. Осторожно положила карандаш на табурет. Шагнула ближе и наклонилась над Лямыным.

Близко он увидел ее лицо. Лицо ее было слишком нежным, таким нежным бывает тесто на опаре, когда с него снимешь марлю и ткнешь его пальцем, проверяя на живость.

– Вы звали?

Ощутил на лбу ползанье сонной зимней бабочки.

Это ее рука водила ему по лбу, нежно, осторожно.

Он устыдился своего мокрого, липкого лба.

Глотка хрипела:

– Я... худо мне... сестрица...

Видел, как поднялась под серым штапелем, под белым холодным сестринским фартуком ее грудь. Она выпрямилась и вольно развела в стороны плечи, странно мощные, будто не девичьи, а бабьи, – так бабы распрямляются, устав махать косой, на жарком сенокосе.

– Лежите спокойно, солдат. Я сейчас.

Зацокали каблук. Он умалишенно считал про себя этот дальний, бальный цокот: раз, два, три, четыре, пять.

Приблизилась. В руке держала кружку за железное ухо.

Легко, невесомо присела на край его койки. И по нему полился пот, по всему телу, и терял чувство тела от слабости, стыда, блаженства.

Сестра поднесла кружку к его рту.

– Пейте... – так нежно сказала, будто бы губами – ржавую иголку из его губы вынула.

Подвела другую руку ему под затылок. Он чуял жар девичьей ладони. Кровь его дико и гулко стучала в обласканном затылке. Дышал, как загнанный конь. Сестринская ладонь чуть приподняла от подушки его железную, тяжкую голову, и он мог раскрыть рот и пить. Глотать – мог.

И глотал. Вода отдавала железом и железнодорожной гарью, была сначала чуть теплая, а на дне кружки, когда допивал, – ледяная.

Застонал, надавил затылком ей на ладонь. Она так же осторожно уложила его голову на подушку. Всмотривалась в него. Столько жалости и нежности он никогда не видал ни на чьем живом лице.

– Полегче вам?

Он ловил глазами ее глаза.

Вот сейчас уйдет. Встанет и уйдет.

– Да... благодарствую... водичка...

Она не расслышала, наклонилась к нему опять.

– Что?

– Знатная...

Два их лица изливали тепло друг на друга: он на нее – сумасшедшее, она не него – спокойное, ясное. Приблизились еще. Лямин увидел хорошо, ясно: у нее синие глаза. Не голубые, как небо в ясный день, а именно что синие: густая синева, мощная, почти грозовая. И такие большие, как два чайных блюдца. А ресницы странным, старым золотом поблескивают. Ну точно чайники.

«Китай... Восток... дворянка, знать... блюдца, мать их, синий фарфор дулевский...»

Мысли в железной чашке черепа кто-то громадный, насмешливый размешивал золоченой ложечкой.

Поймал ее улыбку губами. Слишком близко вспорхнула, легко изловить.

Оба одновременно усмехнулись. Она – радостно: раненому полегчало! – он – ядовито: над собой, немощным, безумным.

– Ну вот и хорошо!

Вот сейчас встала, одернула фартук. Зачем-то разгладила белые обшлага штапельного форменного платья.

Белый милосердный плат, как монашеский апостольник, туго, крепко обтягивал ее лоб, щеки и подбородок. Щеки, и без того румяные, заалели ярче осенней калины.

Дотянулась до карандаша. Сунула его в карман фартука.

– Температуру измерим...

– Не надо. Хорошо уж мне.

Пот лился у него по лбу, стекал на подушку.

– Да вы же весь мокрый, солдат!

Опять провела рукой ему по лбу, по лицу. Сняла со спинки койки полотенце, отерла лоб. Опять улыбнулась. И стала серьезной. И больше уже не улыбалась.

– Это... пройдет...

– Лежите спокойно.

– Сейчас... ночь?

– Да. Ночь. Четыре часа утра.

– А почему орудия неприятеля... не стреляют?

– Потому что вы не на фронте, солдат. Вы в госпитале.

– А карандаш... вам зачем?

– Я письмо пишу. Солдат мне диктует, а я ему пишу. Ему домой. Он без руки.

Он закрыл глаза и открыл, так он сказал: да, я все понял, – говорить не мог, опять пропал голос. Видел красный крест, вышитый красным шелком, у нее на груди, на холщовом фартуке. Белый снег, и красная кровь, растеклась крестом. Да разве так бывает?

Красный крест поднимался и опускался – это она так дышала.

И это ровное частое дыхание вдруг успокоило, усыпило его. Он услышал далекую песню, потом далекий звон, будто церковный, а может, это звенели золотые фонарики на господской елке, куда пригласили накормить и одарить бедных детей; а может, это звенели хрустальные рюмки в холеных руках офицеров и граненые стаканы в грубых пальцах солдат – так они праздновали победу. Победа будет, сказал он себе, и веря и не веря, победа обязательно будет, мы победим врага. Мы русские, нас еще в жизни не бил никто! А где враг? Он оглядывался туда и сюда, глядел и вперед, и назад, и не было нигде врага, и он растерялся, но это было уже во сне.

И во сне ушла от его госпитальной жесткой койки синеглазая румяная девушка; сестринский плат у нее под подбородком, под горлом обратился в крестьянский, она шла в рубахе, и солнце палило ей широкие сильные плечи и голую, покрытую каплями пота шею; она отирала пот ладонью с шеи, со лба и весело смеялась, и он видел, какой у нее красивый рот и красивые

зубы. И далеко пели косцы яркую и развеселую, мощную песню, какие обычно поют мужики на сенокосе; и блестяли лезвия тяжелых литовок; и с легким шорохом валилась на истомленную жарой землю скошенная трава, и он, Мишка, тоже косил, размахиваясь косой широко, свободно, от плеча, – и румяной юной девушки уже было рядом не видать, но он чувствовал: она незаметно вошла куда-то внутрь него, под ребра, как детская тайная обида, как легкий солнечный запах свежескошенной нежной травы.

\* \* \*

Он выздоровел. Выправился. Налился новой силой.

Пока молод – смерть не возьмет, сам над собой смеялся, и над смертью тоже.

Подлечили. Зашили. Где надо, срослось. Где не надо, побаливало. Плевать он на это хотел.

Снова попросился на фронт: а куда еще было возвращаться солдату?

Думал о доме. Ночью перед глазами вставала огромная родная река, широкие перекаты и больно блестящие на забытом мирном солнце плесы. Плынешь на лодке, ладишь удилище, руку в воду окунешь – рука как подлещик, а водичка желтенькая, насквозь солнцем просвеченная. И дно видно; и рыбы ходят медленно, важно.

«Волга, Волженька...»

Просьбу его исполнили. На фронт отправили.

Он себя спрашивал: Мишка, вот ты смерть понюхал, а сейчас ты смерти-то боишься или нет? – и ничего не мог сам себе на это ответить.

Война была все такая же. Отвратительная.

Его бы воля – он превратил бы ее в черную гадкую козьявку и раздавил бы сапогом.

«Сказочник ты, Мишка. Что плетешь. Чем прельщаешься».

...Они тут бились, а в тылу солдаты митинги затевали. Заморское словцо – митинг! Означает по-русски: буча, буза. После очередного сражения сутулились в окопах, вертели самокрутки, перевязывали раненых – все как обычно, тоска, кровь и хмарь, – как вдруг тяжело прыгнуло в окоп чье-то грузное, великое тело, один солдат упал, другой выругался, третий крикнул:

– Стой, кто идет!

На перемазанной роже великана отражался лютый, зверий восторг.

Он завопил, вздергивая кулаки над головой:

– Ребята! Солдаты! Кончай воевать! Кончилась война, в бога ее душеньку мать! Кончилась!

Вдали грохотали выстрелы, а в окопах грохотали солдатские насадные крики.

– Иди ты врать!

– Все! Толкую вам! Мир!

– Откудова знаешь?!

– Да Ленин в Петрограде уж почти всю власть забрал! Только что Зимний дворец с царями не взял! А так – все взял!

– Да нас тут офицеры расстреляют всех до единого, если мы в одночасье винтовки побросаем!

– Небось! Не убьют!

– Мир! Мир! Ну наконец-то!

– Бросай фронт! Бросай к чертям это все! Домой! Домой!

– Слышите, солдаты?! А ну как он врет все?!

– Домой! Домой!

– Землю нам! Хлеб нам! Все – нам! Во где уже господа сидят! Нахлебались!

- Хлеба! Мира! Ленин наш спаситель!
- Троцкому ура-а-а-а!
- Пошел к лешаку твой Троцкий!
- Ленину ура-а-а-а!
- Домо-о-о-ой!

Лямин вопил вместе со всеми: домо-о-о-ой! Перестал кричать. Слушал чужие крики. Топал рядом с чужими сапогами. Командир попытался остановить бегущих. Стрелял в воздух.

- Куда! Не сметь! Всех положу!
- Кончай командира! – орали солдаты. – Кончай всех, кто против мира! Мир у нас! Мир!

Лямин видел и слышал – и глаза его не закрылись, и уши его никто не залепил воском, – как рубят и колют командира и других офицеров их же саблями и винтовочными штыками, как разрывают их на куски – так волки рвут свою добычу; как топчут ногами уже мертвые, изуродованные тела.

- Распускай роту! Солдаты, кидай оружие!
- Ком боли подкатил к горлу Лямина.  
«За что сражались... за что же, черт, умирали?..»  
Отвернулся от растерзанных тел. Тошнота подкатила.  
«Как барышня... сейчас сблую...»

- Сдавай оружие, ну!
- Одни кричали одно, другие – другое. Кто-то уже приказывал: командовал.  
«Свято командирское место пусто не бывает, ха. Быстро его... занимают...»

Ноздри раздувались, запах крови лишал ума.

Жалкая горстка солдат, верных идее войны до победного конца, императору и присяге, скучилась возле долговязого офицера. Молодой, а волосы белые. Поседел от ужаса враз?

- Сдавайся, господское рыло, слышь! Мы – уже власть!
- Вы не власть, – выцедил долговязый офицер. – Вы – мои подчиненные.

А у самого рот от страха дрожал; и к верхней губе прилип табак – после сраженья самокрутку курил, как простой солдат.

- Ах, подчиненные?! Три минуты тебе даем!

«Мы отнимаем оружие. А сами-то стоим с оружием. Против кого? Против – своих же? Русских людей? Против своей же, родной родовой – вот так же встанем?»

Далеко стреляли.

«Сейчас и этим упрямам не жить. Но они же русские! Русские!»

- Они же... русские... наши...

Великан, тот, что поднял восстание в окопе, передернул затвор винтовки и волком зыркнул на Лямина.

- Наши?! Они враги наши! Они хотят, чтобы мы – тут сдохли, на войне!
- Что мелешь... как это – сдать оружие без боя...

Беловолосый долговязый офицер внезапно выпрямился, стал похож на сухую осиную жердь, и не своим, а каким-то подземным, утробным голосом крикнул, обернувшись к солдатам, его обступившим:

- Огонь!
- Солдаты выстрелили.  
Свои солдаты – в своих же солдат.  
Русские – в русских.

Раненые и убитые упали на землю. Хрипели. Царапали землю ногтями. Восставших было больше, чем верных. Ощетинился частокол штыков, сухо и зло затрещали выстрелы. Трещали до тех пор, пока все они, верные царю и отечеству, не полегли в грязь – и больше не шевелились.

- Ну что? Все патроны израсходовали, голуби?!

Солдаты стояли и глядели на дело рук своих.

И тут Лямин, сам от себя этого не ожидая, задиристо и жестко крикнул:

– Ребята! Айда все на Петроград!

Глотки обрадованно, счастливо подхватили безумный Мишкин крик.

– Да! Да! На Петроград!

– На вокзал, айда на вокзал! Да любой поезд возьмем! Прикажем повернуть стрелку!

– На Питер! На Питер!

– Пять минут на сборы!

– А этих куда?!

– Русские люди ведь... христиане... похоронить бы...

– Хоронить врагов народа хочешь?! Не выйдет! Я лучше – тебя шас застрелю!

– Брось! Брось! Шучу!

– Шутки в сторону!

– Готовься шибчей, ребята, иначе в Питере все без нас произойдет!

– А может, уже произошло!

– Тем лучше! Поддержим революцию!

– Собирай котомки!

– Чо на этих подлецов зыришь?! Жалость взяла?! Враги они наши, говорят тебе!

– Правильно мы их ухряпали! Неча жалеть! Не баба!

– Они нас тут всех готовы были положить! В полях чужих... на чужой земле...

Лямин бодро, злым и широким шагом пошлепал вместе со всеми прочь от места, где свои убили своих; и, пройдя немного шагов, воровато оглянулся. Седой долговязый офицер лежал навзничь, лицом вверх, пули пробиты ему грудь и шею, и Лямин видел, как купается, плавает в крови убитого вынырнувший из-под сорочки крохотный, как воробьиная лапка, зелено-медный нательный крест.

\* \* \*

– Стреляют?

– Да, бахнули!

– Все, пора...

...Фигуры железные и фигуры живые сгрудились вокруг дворца. Как отличить неживое от живого? Броневики молчат, как сонный бык, орудие на вечернем крейсере, отдав воздуху ядро, вздыхает медленно, как зверь, идущий на зимний тяжелый покой в белый лес. Ружья и пулеметы стреляют исправно. Внутри Зимнего дворца, то и дело приликая носом к холодному густо-синему, уже налитому пьяной ночью стеклу, человек благородного, барского вида строчит тусклым грифелем у себя в записной книжке: «Атака отбита. Никогда им не взять нас. Никогда им нас не победить! Не сломить Великую и Славную Россию!»

Его трусливое карандашное царапанье никто не видит, не слышит. Только Господь Бог. Но и в Его существовании теперь многие усомнились; если кто вдруг побожится, как раньше, его одернут: тише ты, не смейся, бога-то никакого нет на самом деле!

...Бог – он в фонаре живет. Он льет свет изнутри фонаря; и фонарь в холодной ночи – нежный, горячий. Жаль, высоко висит, а то бы руки погреть. Но уж если сильно замерзнут, тогда можно и костры на площади разжечь. Пламя затанцует! Грейся не хочу!

...Толпа то приникала к воротам, то откатывалась. Опять накатывала черным прибоем. Матросы гоготали, обнажая желтые волчьи клыки. Лямин терся меж душной многоглавой кучи солдат в истрепанных шинелях.

«У нас у всех шинелишки как у братьев родных. Как одна мама родила. Потертые, с дырами от пуль, в засохшей крови. И пахнут...»

Он не подобрал слова, чем пахнут. Рассмеялся. Фонарь выхватил из тьмы близкое лицо, небритое, синяя щетина торчала чуть не под глазами. Солдат что-то крикнул Лямину, да все гомонили будь здоров, он не расслышал. Качались взад-вперед. Отбегали; закуривали, чиркая толстыми спичками в погибельном фонарном свете. Сердце прыгало, на него давила тьма близкой ночи, и то, что должно было случиться в ночи.

Женские голоса сбивчиво кричали поодаль. Плакали, визжали, квохтали. Ему сказали – дворец защищает какой-то женский батальон; издали он видел, как восставшие солдаты закручивают несчастным бабам руки за спину. «Поделом вам; кого защищали? Царя, царишку!» Не думал о том, что недавно, идя на войну ополченцем, сам этому царишке присягал; думал о бабах, напяливших шинели, гадко, плохо.

«Курвы, и куда подались? Детей ведь иные побросали! Стервы».

Рядом кричали:

– Ананьина поймать и на фонарь!

Забабахало с Петропавловки.

Орудия палили, Лямин вздрагивал. Он стоял внутри людского плотного месива, он сам был комком непромешанного, потного теста. Выстрел за выстрелом, он не считал. Мазилы! Не попадают. Если б метко стреляли – этот дворец к едрене матери давно бы в кирпичи разнесли.

«А ведь я тут лежал. В лазарете. Тут! Это цари нам, солдатам раненым, свои бальные залы да кабинеты уступили!»

Желваки под скулами перекатились сухим горохом. Тот, с синей щетиной, орал радостно:

– Да крейсера с нами! На катерах – с нами! Да все в Гавани – с нами!

– Да все – с нами! – отвечали ему разноголосом, отовсюду.

– Они, братцы... только фасад охраняют! Там, сзади... дверки-то отворены!

Толпа качнулась назад и влево, потом вправо. Вдруг повернула, люди побежали нестройно, махая бешеными руками, кто смеясь, кто плюясь.

Нева черно, лаково блестела под жутким, диким светом поздних фонарей.

Накатывала наводнением полночь.

Они добежали до дверей, двери и точно были открыты. Вроде даже гостеприимно распахнуты.

– А нет ли тут подвоха?!

– Возьдем, а там гранатами нас ка-ак закидают!

– Да не, там под лестницей – юнкера сидят, в душу-мать, в штаны наклали...

...На лестнице стояли люди. Их встречали. Но люди не двигались, молчали; и страшно было это молчание, и безвыходно. Лямин подумал: а что, если они все отсюда и правда не выйдут? – а в это время от толпы отделилась странная кучка людей, будто кучка пчел, отжужжавших прочь от могучего роя. Люди-пчелы летели вверх по лестнице, в руках у них шуршали бумаги. Этими бумагами они тыкали в нос тем, кто стоял и молчал. И о чем то молчащих просили: страстно, доверительно, по-хорошему.

Молчали еще суше, еще злее.

И тут за спиной Лямина возник гул. Он еще не понял, что это за гул такой, а толпа поняла – и дико, восторженно закричала, радостно летели вверх бескозырки, папахи, ушанки, фуражки.

– Братцы! Братцы! Народ здесь!

– Народ наш! Вот царский дворец, ядрена корень! Вот! Он теперь – твой!

Целовались. Сквернословили. Подымали кулаки. Тузили друг друга по плечам, по спине. Молодые парни с красными лентами в петлицах, старые седые мужики в разношенных сапогах – в них воевали, в них же и сеяли-косили, – не стыдясь, плакали.

А потом все враз опять орало.

Потекли по лестницам и коридорам, втекали в залы, стремились наверх, рушились в подвалы, здесь, во дворце, не было ни огня, ни штыков, ни крови, – а рано радоваться было, откуда ни возмись вывалились безусые юнцы, и винтовки прикладом к плечу, а лица бледные, и дрожат.

«Юнкера, мать их! Мы их... сейчас... как червей лопатой, перешибем...»

Юнкера успели дать только один залп. Толпа навалилась, подмяла юнцов под себя, скрутила, смяла, повалила, разбивала мальчикам лица сапогами, коленями, резала ножами, колола штыками.

– Царя защищали?!

– Где он теперь, ваш царь?!

Лямин оттаскивал от трупа юнкера того, с синей щетиной: в сумасшествии синешеккий плясал на погибшем, давил ногами его лицо, кровь брызгала на сапоги, нос вминался в череп.

– Тихо, тихо... ну что ты бушуешь... охолонь...

Синешеккий солдат обернулся, ощерясь.

– Не могу! – Бил себя кулаком в суконную грудь. – Ну ты понимаешь, друг, не могу! Все-то жизнешку мы кланялись! всю-то судьбишку – горбились! А тут! Головы подняли! Хребты разогнули! Видеть стали... чуют! Что к чему, чуют! Где – правда!

– Правда – да, – бормотал Лямин, таща синешеккого за рукав, – но не надо так... Плясать-то на мертвой роже – зачем...

Поодаль вопили:

– Бомбу! Взрывай бомбу!

Тащили бомбу; Лямин видел, как ее, чуть приседая, несут четверо.

– Взрывай царей! Взрывай министров!

– Где они прячутся?! Показывай!

Вели новых юнкеров, еще живых. Они не стояли, а вздрагивали, будто на ветвях свинцовым морозом схваченные: синицы, сойки, снегири. Воробьишки, час последний. У них были уже мертвые лица, а живые глаза плакали.

– Где владыки?! Подорвем их зады к ядрене матери!

– Быстро говори!

Били кулаками в бледные лица. Били по щекам. Одному юнкеру выстрелили в лоб, и он не упал – его крепко держал синешеккий. Мертвая кукла болталась в руках живой куклы, а живую куклу за нитки света держала и дергала громадная люстра – там, в невероятной выси.

– Вы! Суслики! Ваши начальники сдались! Что ждете?! Конфеток?!

Пахло кровью, мастикой навощенного паркета и порохом.

То там, то сям внутри толпы рождался глухой вой. Вой взмывал, поднимал на головах волосы запоздалым ужасом, веселил, зажигал голодное нутро. Вой был и разбойный, и святой, и его нельзя было унять. Он так же быстро гас, как возникал.

Расстреливая, ударяя, хохоча, воя, толпа ринулась вперед, рассыпалась, разваливалась кусками ржаного волглого хлеба и слеплялась опять, шарилась в шкафах, сдергивала со стен полотна, наклонялась над холстами и выкалывала ножами глаза у старинных людей на блестящих медом и перламутром портретах; скалила зубы перед зеркалами, а потом срывала их с гвоздей и волокла за собой; засовывала за пазухи царское столовое серебро; закручивала в рулоны простыни и пододеяльники, обшитые тончайшим кружевом; рассовывала по карманам часы и брегеты; сначала била вазы мейссенского фарфора, чашки Гарднера и Кузнецова, а потом, любуясь, цокая языками, – под мышку, за пазуху, в карман, в суму.

Толпа плохо понимала, что делает: она жадно срывала и срезала драгоценную телячью кожу с сидений кресел, со спинок диванов, колола штыками живопись, что везли из Амстердама, Рима и Венеции; она топтала иконы и рвала книги, разбрасывая страницы по цветному паркету, и, если бы захотела вдруг остановиться, она бы не смогла. Штыки разбивали вдребезги

ящички с пасхальными яйцами француза Фаберже. Штыки выламывали плашки из паркета. Над штыками горели лица – у толпы было одно лицо со многими глазами и многими ртами, и изо ртов рвался лишь один крик.

А штыки, это были всего лишь зубы толпы. Ее острые и справедливые зубы.

– Взорва-а-а-а-ать!

Лямин не хотел смотреть, как убьют министров. «А все равно убьют, как ни крути. Все равно». Толпа разделилась. Он бежал вместе с людьми вниз. Все вниз и вниз.

– В подвал мы, что ли?!

Ему не отвечали: хохотали.

Дивный неведомый аромат ударил в нос. Он видел перед собой комнаты под сводами, двери распахнуты, внутри бочонки и бутылки, очень много: ряды, роты, батальоны бутылок. На иных бочонках – краны. Лямин впервые в жизни наблюдал винный погреб. Солдаты, расстреляв охрану погреба, уже радостно высасывали вино из горла, подбрасывали пустые бутылки в ладонях. С лязгом, похожим на женский визг, разбивали их об пол – с размаху.

– Будьте вы прокляты! Гас-па-да-а-а-а!

Били бутылки уже пьяно, дико, щедро, не жалея. Вино текло пузырящейся красной рекой. Обтекало сапоги Лямина. Он тарашился, потом наклонился, окунал пальцы в красное, неистово пахучее. Лизал пальцы, как кот лапу.

– Эх, теки-теки, наша кровушка!

– А куда стячь-то? В Няву, по всяму видать?

– В Неву так в Неву! Пусть народ из реки винца попьет! С бережку!

Лямин вертел в руках бутылку. Шурился. Поднял ее повыше и полоснул ей по горлу, как живой бабе, штыком. Стекло отлетело. Он закинул голову и, держа отбитое горлышко ровно над галчино раскрытым ртом, вливал в себя, с алым вкусным бульканьем, царское столетнее вино.

И не пьянел.

...Над головой, выше этажом, вспыхивали и гасли ужасные крики. Крик сначала рождался из тишины – выбухом, взрывом; потом разрастался, заливал собою все вышнее пространство – залы, зальчики, закутки; потом превращался в долгий дикий вой – будто собака посмертно выла над трупом, – и истаивал, затихал и обрывался гнилой ниткой.

– Юнкеришек мучат, – бородатый мужик подворотного вида, с гноющимся глазом, придирчиво выбрал бутылку из темно-красного стеклянного строя, откупорил и влил в себя крупный, жадный глоток. – И верно делают. Собачьи дети! Отродья буржуйские!

Лямину отчего-то, на краткий странный миг, стало жалко юнкеров.

– Отродья, да, – сказал, – да все ж русские люди.

Опять закинул башку и перевернул зазубрины отбитого горлышка надо ртом.

Глотал вино, как воду.

Мужик тоже хлебнул, ладонью утерся.

– Ах! Хорошо. Вот она, господская жисть-то!

Оба хохотали весело.

– А коньяк тут есть? В этих закромах?

Нагибались, пробирались между бочонков, искали коньяк.

Наверху, между мужскими воплями, появились дикие женские крики.

– А это еще что такое? – Мужик, с янтарной бутылкой в руке, воззрился на Лямина. – Бабенки? Откуда?

– Сам не знаю.

Михаил вылил в рот сладкие, пахучие остатки.

Мужик вертел в руках бутылку.

– Желтый, значит, он. По-нашему написано! Ну да все один черт. Вкусно, да. Хоть бы хлебца кусочек! Без закуски – брат, быстро свалимся.

Крики чередовались, мужские и бабы. Лямин и все, кто густо толкся в винном погребе, были вынуждены их слушать. И слушали. И пили. Пили, чтобы слышать – перестать.

Но крики не утихали. Ввинчивались в уши стальными винтами. Насквозь прорезали мозг.

...Он, шатаясь, поднимался по лестнице. Думал – взбегаю, а на деле шел, нетвердо ставя чугунные ноги, цепляясь железными пальцами за перила. Отчего-то стал мерзнуть, мелко трястись. Дошел до блестящего паркета, чуть на нем не растянулся. Сам себе засмеялся, держался за перила, – дышал тяжело и часто, отдышал.

– Надрался, – сам себе весело сказал, – ну да это быстро пройдет. Винишко... не могучее.

То идя на удивление прямо, как на параде, то вдруг валясь от стены к стене, шел по коридору, и глаза глупо ловили роскошь – виток позолоты, белую виноградную гроздь лепнины, лепные тарелки и цветы по высоким стенам. Задирать голову боялся: на цветную роспись на потолке глянет – и сейчас упадет. А надо стоять, надо идти.

Куда? По коридорам шастали люди. Они то бежали, то собирались в гомонящие кучи, то, как он, пьяно качались. Людями был полон дворец; и дворец и люди были слишком чужеродные. Люди были дворцу не нужны, и дворец был людям не нужен. Жить они бы тут все равно не смогли, а разграбить его – нужен не то чтобы полк, а вся армия.

Под ладонью возникла слишком гладкая белая, с лепниной, высокая дверь, и Лямин в бессознании толкнул ее. Замер на пороге.

Мелькнули чьи-то белые, раскинутые ноги; чьи-то сброшенные сапоги; шевеленье суконных задов; торчали штыки, валились картины со стен, на нарисованные лица наступали сапогом. Люди возились и копошились, а под людьми дергались и кричали еще люди; Лямин с трудом понял, что они все тут делают. Когда понял – попятился.

Дверь еще открыта была, и слышать было хорошо, что люди кричали.

– Нажми, нажми!

– Крепче веселись, крепче!

– Ах яти ж твою! Сла-а-а-адко!

– Пасть ей – исподним заткни!

Лямин пятился, пятился, пятился, наступал сапогами на паркет нетвердо. потрясенно.

А отойдя, криво улыбнулся. Захотелось хохотать во весь голос, во весь рот. Что, он мужиков не знает? Или такого вовек не видал? Сам мужик.

«Они просто... берут свое... а что теряться...»

Откуда тут бабы, и сам не знал. Мало ли откуда.

Может, горничные какие в складках гардин спрятались; может, фрейлины какие в перинах, под пуховыми одеялами запоздало тряслись.

«Какие фрейлины... правительство тут сидит... да, а министры-то где?»

Перестал думать о министрах в тот же миг.

...По коридору уже не шел – валился вперед. Туловище опережало, ноги сзади оставались.

Чуть не упал через тело, что валялось у входа в зал, сияющий зелеными, болотными малахитами. Сапогом зацепился, а рукой успел за выгиб лепнины на стене ухватиться.

«Черт... расквасил бы нос, хребет бы сломал...»

Хотел обойти мертвеца – да что-то остановило.

Волосы. Длинные русые волосы. Они лежали на паркете длинной грязной тряпкой.

Неподалеку, мертвым барсуком, валялся сапог.

Лямин сел на корточки, не удержался и повалился назад. Сидел на полу, ловил воздух винным ртом.

Мертвая ладонь разжата. Около ладони – черный квадрат и длинный черный ствол маузера.

Висок в крови, а веки чуть приподняты, будто еще жива, будто смотрит.

Лямин рассматривал бабу. Расстегнутая шинель. Немолодое круглое, отечное лицо. Перевел глаза с ее груди на живот. Тряпки растерзаны, и плоть растерзана: порезана, избита, измята. Голизна сквозь бязь исподнего белья просвечивает дико, красно.

– Ах ты человек, зверь, – выдохнул Лямин изумленно, – ах ты сучонок, тварь... Что сделали...

Себя на их месте вообразил. Затряс головой.

«А маузер надо взять. Пригодится».

Подполз по паркету ближе к неподвижной руке и скрюченными пальцами подволок к себе пистолет.

Кряхтя, вставал с полу, нелепо упираясь ладонями в паркетные, скользкие от крови плашки; наконец ему это удалось.

Русая баба лежала так же мертво, в охвостьях окровавленного белья.

...За окнами стреляли. Потом наступала холодная черная тишина. Потом опять стреляли. И снова тишина. А в тишине – женские вскрики.

«Да язвы их... что тут, бабы одни в шинелях собрались, что ли...»

До него позднею дошло: женский батальон разоружают, а то и расстреливают.

«Какие бабы вояки... куда прутся-то...»

Подвалил к окну. Упирался кулаками в подоконник. Коридор был темен, темнее пещеры, и хорошо было видно, что творится на улице. Бабенки кто лежал на земле, подтягивая к брюху винтовку, кто валялся уже недвижно, кто сховался, сторбился за горою ящиков из-под вина и за сломанными раскладушками, вышвырнутыми из недавних госпитальных залов. Матросы, люди в кожанках, солдаты в шинелях и странные мужики в трущобных лохмотьях, как заводные куклы, бегали вокруг еще живых баб и разоружали их.

Лямин слышал людские крики. Они бабочками бились в холодное стекло. И не могли разбить, и внутрь не залетали. Он растер себе лицо ладонями и почуял ноздрями запах крови. Посмотрел на свои руки. Кровью испятнаны.

«А может, это красное вино! Может... не может...»

Глядел сверху вниз из одинокого окна, как большевики ведут арестованный бабий батальон, походя пиная трупы; как кулаками и прикладами мужики бьют баб в лицо. Одной своротили кулаком челюсть, она стояла, согнувшись, и кричала. Ее крик был похож на мяуканье большой кошки.

«А кто ж дворец-то этот поганый защищал?.. Юнкера да бабы?..»

Думать было трудно, непосильно. За окном черной сталью блестела Нева. Около моста расхаживали красногвардейцы.

«Мост... стерегут...»

Лямин оторвал руки от подоконника и пошел по коридору. Он думал, что идет прямо и правильно. Ноги почти не заплетались. Сапоги назад не тянули. Под сапогами оказался сахарный мрамор лестницы, Лямин плотнее прижался к перилам и по лестнице сползал, чуя противную богатую гладкость перил под шершавой наждачной ладонью.

Вывалился на улицу, в ночь. Одинокие выстрелы звучали то там, то сям. Рядом затопали сапоги. Он медленно повернулся. Мимо него шел солдат в шинели. Плечи широкие. А худощавый. За плечами винтовка старого образца – еще, может, времен войны с турками.

– Эй! Курнуть есть?

Солдат остановился. Лицо солдата, скуластое, безбородое, испугало Лямина жесткостью губ и железом желваков. А взгляд – тот прямо отливало беспощадным металлом.

«Злая какая рожа, прости Господи...»

– Есть.

Голос у солдата нежный, юный. Тенорок.

«Не идет его голосишко... к его злому виду...»

Солдат вытащил из кармана пачку папирос.

«Та-ры-ба-ры... а, это неплохие...»

Расколупал в пачке дырку.

Молча протянул Лямину.

Лямин тащил папиросу, как тащат из земли дерево. Вытащил и, качая языком во рту, попросил:

– А это, солдатик... можно еще одну?

– Тащи.

Солдат смотрел, как Лямин копошится грязными пьяными пальцами в пачке; потом отвернулся к мосту. Держал папиросы в вытянутой руке.

Маленькие пальцы крепко сжимали початую пачку.

Река черно блестела, тусклым медом сочился и капал фонарный свет. Вот выстрелили далеко. Вот стрельнули близко. И опять тишина.

– Спасибо... дружище...

Зажал папиросу в зубах. Улыбался.

Нашарил в кармане коробку спичек, чиркнул одной – сгасла, чиркнул другой – сгасла, третья вспыхнула, он, держа папиросу в зубах, поднес огонь к лицу, и он обжег ему пальцы и губы.

Вскинул лицо, солдат обернул свое, и Лямина льдом обожгли его глаза – круглые, большие, как у бабы, светло-серые, он смотрел ими так холодно и надменно, будто бы он был никакой не солдатишко, а сам царь; смотрел прямо, не моргая, залезая зрачками в ночную, облитую сегодняшней кровью и истыканную сегодняшними штыками, душу Лямина.

– Ты, солдат!.. чо глядишь?.. Я чо, не нравлюсь?.. не, я не пьяный...

Втягивал дым, наслаждался. Трезвел.

Серые глаза прошлись вдоль по Лямину, ото лба до носков сапог, солдат повернулся жестко и быстро и пошагал прочь, на ходу засовывая пачку вкусных папирос «Тары-бары» в глубокий, как ад, карман шинели.

\* \* \*

Толпа дышала, шевелилась и двигалась.

Многоголовый и пестрый человеческий ковер то сжимался в гармошку и сминался, то растекался и вздрагивал. Белые толстые колонны зала блестели, будто кто их чисто вымыл и покрыл лаком. С балконов люди свешивались гнилыми изюмными гроздьями. Ружейные штыки там и сям блестели, как дикие елочные игрушки, и внезапно вся толпа становилась черной живой, колючей елкой.

«Опадут эти иголки, опадут».

Лямин, в шинели и фуражке, не сидел – стоял. Ему не досталось места. Да стоял он в плотной, жаркой толпе, и пахло потом и порохом, и толпа качалась, будто все они плыли в одной тесной лодке, а море плескалось вокруг бурное, и они вот-вот потонут.

Он глядел на деревянный ящик трибуны. Сейчас наверх ящика кто-то живой и умный должен взобраться, и оттуда речь говорить.

«Кто? Ленин? Троцкий? Свердлов?»

Вся страна знала имена этих большевистских предводителей; и он тоже знал.

И глазами, и щеками, и затылком – видел, ощущал: да здесь вся страна собралась.

«Отовсюду люди, отовсюду! И как только добрались. Кто в вагонах, кто пешком... кто – на лошадках...»

Оглядывался. Пухлые, с прищуром, рожи, а под теплой курткой – рубаха-вышиванка. С Полтавы, с Херсона, с Киева. Не уголодались там, на Украине, на сале разъелись. Квадратные скулы латышей и литвинов. Чухонцы с серыми, паклей, волосами из-под серых кепок, с мышинными и жесткими глазами, глядят напряженно и недоверчиво. Люди в черных папахах – может, казаки терские, а может, и чечены, и осетины, и грузины: черт их разберет, виноградный, овечий Кавказ. А вон в полосатых халатах, а поверх халатов – распахнутые бурки: эти – узбеки, таджики.

«Далеконько ехали, косорылые. А ведь прибыли! Молодчики».

Разноязыкая речь слышалась. Вспыхивали гортанные смешки. Четко, ледяно цедились странные слова. Русский мат вдруг все перебивал. И смех. Взрывался и гас, оседал на грязный пол, под топот сапог, лаптей, ичигов, башмаков.

А потом наступала внезапная, на миг, странная и страшная тишина.

И опять все начинало двигаться, бурлить, хохотать, орать.

Матросы поправляли на груди пулеметные ленты, подкручивали усы, солдаты глядели угрюмое, непрерывно курили, сизые хвосты дыма вились и таяли над головами. Все сильнее, нестерпимее пахло потом, и запах этот напомнил Лямину окопы. Он стащил с головы фуражку и крепко, зло взъерошил рыжие волосы.

«Рыжий я, красный. Воистину красный!» Усмехнулся сам себе.

Каждый говорил и не слышал себя, каждый стремился что-то важное высказать соседу, да даже и не соседу, а – этому спертому воздуху, этим колоннам белым, гладким, ледяным. Этому потолку – и было сладкое и страшное чувство, что он вот-вот обвалится, – этой громадной люстре над головами: люстра плыла под известкой потолка и лепнинами, будто остров, что вчера был прочной землей, а теперь несут его черные, темные воды непонятно куда. Все орали и гомонили, и кое-кто иногда вскрикивал, пытаясь перекричать толпу: «Тише! Тише, товарищи!» – но куда там, люди освободили век молчащие глотки, пытаясь через них вытолкнуть наружу сердца.

На Лямина глядели – кто весело, кто пристально, кто нагло. Рассматривали его, будто он был диковинная птица или жук под лупой.

«Рыжина им моя не по нраву. А может, по нраву, кто их знает».

Толпа качнулась раз, другой – и внезапно утихла. Люди двигались к сцене. Кургузые пиджачки, костюмы-тройки, засаленные жилетки, пыльные штиблеты. Шли быстро, и толпа образовала внутри себя пустоту, чтобы эти люди куда-то быстро, поспешно и нервно пройти могли. И они шли, почти бежали – один за другим, один другому глядя в затылок, а кто и себе под ноги, чтобы не споткнуться.

Люди были лысые и с шевелюрами, один в очках, другой в пенсне; Михаил шарил глазами, искал среди них Ленина, но уже затылки, папахи и бескозырки толпы закрыли идущих по дымному, среди шевелящихся курток, бушлатов, сапог и шинелей, проходу, толпа опять сомкнулась, и гомон утихал, и тишина напозала из-за белых снеговых колонн, из углов – неотвратимо и опасно, и после шума от тишины уши болели.

Михаил задрал подбородок и вытянул шею, чтобы лучше видеть поверх голов – и тут зал превратился в один гудящий каменный короб, а потом этот короб выстрелил таким громовым «ура-а-а-а!», что Михаил закрыл ладонями уши и засмеялся, а потом и сам набрал в грудь побольше дымного и потного воздуха и тоже заливисто, широко крикнул:

– Ура-а-а-а-а!

«Как в атаку бежим. Будто в атаку я полк – поднял».

Да все тут так орали; все тут друг друга в атаку поднимали, в новую атаку – на старый, поганый, змеиный мир, а он еще шевелился, еще стонал и полз под крепкими мужицкими, рабочими, матросскими ногами. Под солдатскими грязными, разношенными сапогами.

Под его – сапогами.

– Ура-а-а-а-а-а! – длинно, нескончаемо кричал Мишка, и в его груди поднималась огромная, больше этого зала, жаркая, то темная, то сияющая волна, кровь прилиwała к его голове, глаза в восторге вылезали из орбит, и ему казалось, что его больше нет, а есть только огромное дыхание великой толпы, и есть эти люди, что там, высоко, на трибуне: это они все это совершили, а толпа им только помогла.

«Толпа! Не толпа это – народ! Это народ! Мой народ!»

Вопя свое «ура-а-а-а-а», он оглядывался, шарил глазами по глазам, лбам, усам, бородам, корявым, в мозолях, рукам, умеющим и соху верно схватить, и борозду твердо вести, и со станком управиться, не покалечившись, и из пулемета врага положить, – это был народ, его народ, и он – ему – принадлежал.

Ему, а не тем, кто стоял на трибуне; хотя те, кто стоял на трибуне, эти скромные, невзрачные люди с портфельчиками, кто в очках, кто в пенсне, – тоже ведь были – народ. А может, не народ?

Разбираться было некогда. Они все сейчас были одно. И лишь одному этому, тому, что они все вдруг сделались, пускай на миг – наплевать! – одно, и стоило кричать бесконечное «ура-а-а-а-а!».

И вдруг будто грозный дирижер махнул рукой, и они все, орущий народ, стихли, как послушный оркестр. На трибуну поднимался человек – один из этих, невзрачных. Этот был без очков. Невысокий. Коренастый. Огромная его голова торчала чуть вперед, выдвигалась над туловищем, словно он ею разрезал воздух, как воду – плыл. Огромная лысина, во всю голову, лаково, слоновой костью, блестела – точно как белые колонны по ободу зала. Он взобрался на трибуну, и молчащая толпа стала его разглядывать. Жадно, задыхаясь, будто напоследок; будто сейчас его кто-то, тихо стоящий в зале, возьмет на мушку – и метко выстрелит в него.

Маленького роста. И глазки маленькие. Или он их так неистово щурит? Маленький, кукольный, и ручки маленькие – вот он схватился ими за края трибуны, будто боится упасть. Лысая башка словно вдвинута в грудь – шеи вроде бы нет, голова прямо из торса растет, – нос большой, и рот большой: рот, что привык орать – с трибун, с балконов, с грузовиков, с броневиков, с палуб восставших крейсеров, с детских ледяных горок, с дощатых запыленных, заваленных окурками сцен театров, превращенных в нужники, с амвонов церквей, обращенных в конюшни. Бритый подбородок. Бородка уже чуть проступает. Подбородок тяжелый, властный. Слишком тяжелый для такого маленького тельца.

«Костюмчик ношенный... Локотки потерты... Жены у него, что ли, нет, чтобы – пиджачишко почистила? И брюки-то... по пяткам бьют...»

Лысый человек стоял, крепко держался за края трибуны, медленно поворачивая гладкую голову туда, сюда, щурился, разглядывая – кто там, в толпе, что это за делегаты приехали на съезд, и можно ли этой толпе верить, и не сметет ли она его, не снесет ли с трибуны, как снесла с тронов и кресел власть, что сидела на этих тронах и в этих креслах до него.

Михаил глядел на Ленина, и ему казалось – Ленин глядит на него. На него одного.

Усы лысого человека дрогнули, он раскрыл рот и громко, хорошо поставленным ораторским тенором, чуть вздернув свой тяжелый подбородок, выбросил в зал коротко и мощно:

– Тепей, товайищи, паа пьиступить к стьобительству... – Сделал паузу. – Социалистического поядка!

Гул, гром накатил, все подмял под себя, поглотил – зал, лысого человечка, колонны, балконы и балюстрады, пробил крышу, вылетел наружу. Хлопали и кричали долго. Так долго,

что у Лямина заболели ладони. Он перестал аплодировать и подул на ладоши – они светили в полутьме красно, малиново.

«Руки-то в кровь все разбивают, вот какая любовь».

Озирался. Изнутри распирала гордость и тревога. Тревога пересилила. А может, тут, в зале, сейчас возьмут – да бомбу взорвут?

Лысый человек, вцепившись в дерево трибуны, резко наклонился вперед. Лысина сверкнула под лучами люстры. Люстру все сильнее, гуще заволакивало табачным дымом. Люди слушали. Ленин разевал рот широко, шире варежки, будто хотел кого-то хищного, коварного взять да проглотить. Речь его лилась гладко, без сучка без задоринки; он то взмывал голосом вверх, то ронял его вниз, и тогда толпа затихала еще больше и старательно прислушивалась – было слышно вокруг Лямина хриплое, сиплое дыхание, музыка прокуренных легких.

«А, это и сам я так громко дышу. Простыл, что ли?»

Слова излетали из Ленина прямые, простые, правильные, и с каждым из его слов можно было согласиться, и народ вокруг кивал, вертел головами, поднимал вверх, над плечами, тяжелые кулаки, одобряя все, что говорит вождь. А дым стущался, и тревога стущалась, становилась терпкой, жгла под языком, сильно стучала внутри, била поперек ребер, звоном заглушая сердце.

«А что это я весь колыхаюсь? Точно, застудился, едриться-мыться...»

Люди глядели вверх, на трибуну, с восторгом. На щетинистых, бородатых, скуластых, раскосых, щербатых, беззубых, табачных, желтых от голода лицах были размашисто и крупно, резкими широкими мазками, написаны, в кои-то веки, счастье и яркая любовь.

«Обожает народ его! Так-то!»

И правда, на трибуне стоял – бог. Новый красный бог, и, наверное, новый царь.

«Прежнего царя скинули... Николашку... а это – царь Владимир... Вла-ди-мир... Вла-деющий миром, точно...»

Слова текли и настигали, от слов нельзя было укрыться, от ровного, уверенного, картавого голоса, что говорил аккуратно все то, что с каждым в зале – доподлинно происходило.

Страна и время были в каждом. Тот, кто постоял хоть минуту в этом торжественном зале, среди господских ненавистных белых колонн, это почувствовал, это понял и навсегда запомнил.

«Мы – народ. Здесь – народ! Все это сделал народ! Революцию! Мы сами это сделали! Мы! Все, кто здесь! Сами! Для всех! Насовсем! Навечно!»

Что-то произошло с толпой. Люди пригнулись, придвинулись ближе друг к другу. Сидящие – встали. Скрипели кресла. Качалась тусклая громадная люстра. Дыхания сливались воедино. Все верили словам лысого человека. Себе – не верили, а ему – верили.

Толпа выпрямилась, всякий стоял гордо, и из каждой глотки уже доносилось, с каждых губ слетало и летело в зал, к президиуму и трибунам, к отчаянной и светлой люстре это светлое и давнее, эта светлая, яркая, красная песня, могучая, как красная, напитанная кровью, морская волна, дикая и строгая, как сильная, единственная молитва:

*– Вставай, проклятьем заклеянный,  
Весь мир голодных и рабов  
Кипит наш разум возмущенный  
И в смертный бой вести готов!*

«Мы прокляты?! Мы – нищие, низшие?! Червяки мы, что копошились у вас под ногами?! Ах, шейки ваши в жемчугах... А наши дети – будут богатыми, как вы! Будут учеными, как вы! Будут – миром владеть, вот что! Вот как!»

*– Весь мир насилья мы разрушим  
До основанья... а затем  
Мы наш, мы новый мир построим!  
Кто был ничем – тот станет всем!*

Михаил пел вместе со всеми, со всем восторженным народом, не пел – орал возбужденно, и, сняв фуражку, отирал потный лоб. Веснушки на его носу обозначились резче – от волнения, от радости. Кровь прилиwała к щекам и отливала опять. Душно было в переполненном, как тесный улей роями, зале.

Рядом с ним, разевая рот старательно и страшно, блестя желтыми прокуренными зубами, пел низкорослый солдат в белой овечьей грязной папахе; потом папаху сдернул и ею вытер лицо. Продолжая петь, обернулся к Михаилу и ему подмигнул.

И Лямину ничего не оставалось, как подмигнуть ему в ответ.

Сзади Лямина стоял и пел еще один солдат. Худощавый, поясом туго в талии перетянутый. У солдата сверкали светло-серые, двумя сколами кварца, жесткие глаза. Строго выпрямив спину, солдат стоял и пел, глядя в рыжий затылок Лямину:

*– Это есть наш последний  
И решительный бой  
С Интер-на-циона-лом  
Воспрянет род людской!*

Народ, в самозабвении, в ярости и морозе восторга: свершилось! мы – владыки России! мы, народ, а не вы, жадные цари, помещики, заводчики и жандармы! – пел скорбный и гордый гимн, он ломал оконные стекла, подламывал колонны, вырывался в открытые форточки, летел на улицу, обнимал деревья, сбивал с ног прохожих, разливался под ногами людей красным потоком, красно и люто стекал в Неву, опять взлетал – и улетал, освобожденный от сердец и глоток, в ветер, в небо.

\* \* \*

... А колеса все стучали, и они уже потеряли счет времени – сколько дней и ночей, сколько недель они трясутся в этом поезде, сколько народу уже вышло и вошло в вагоны, то душные, то ледяные, – а они все едут и едут, и он все глядит и глядит на эту странную то ли девку, то ли бабу, то ли солдата, а однажды ночью она помстилась ему старухой – так упал на нее из окна свет станционного фонаря, – и ведет с ней разговоры, и ест с ней и пьет, и опять балакает о том, о сем, и она сначала дичится, потом все живее и живей отвечает ему.

И вот уже оба смеются. И вот уже оба ищут рук друг друга.

Долго ли, дело молодое.

А кругом народ, и не поцелуешься тут, не помилуешься. Не говоря о чем другом.

А другого – хочется, терпежу нет; и Мишка видит, как на бабу в шинели заглядываются с верхних и нижних полок, и грызет его кишки червь злобы и гнева, огненный червь, и иной раз, под стук колес, ему видится, как они оба, на багажной, под потолком, полке обнимаются так крепко, что дух вон, а то чудится, что он склоняется найти ее губы, а она залепляет ему со всего размаху знатную оплеуху.

«Никакой жизни нет... с этой войной, революцией...»

Это все ночью блазнится. А когда день – сидят чинно друг против друга, беседуют, и ему неважно, что едят – на станциях долго стоит состав, Пашка выбегает, хозяйственно, ловко покупает у торговки вареную картошку, посыпанную резаной черемшой, моченые яблоки, пироги с тайменем, а то и с жирным чиром, – это они уже едут по Сибири, и Пашка жадно

глядит в окошко, и следит глазами распадки, увалы, заимки посреди тайги, – и шепчет: «Родненькая... родненькая моя...»

Мишка стеснялся спросить, кто такая эта родненькая.

А потом сам догадался: земля это, ее родина.

Закрывал глаза. Жигули свои вспоминал. Волгу.

Увидит ли когда? Так же ли шепнет Волге: «Родненькая...»

«Конечно, увижу. Когда лучшую жизнь отвоюем – и заново все построим. Кто был ничем, тот станет всем!»

– Пашка! Скоро ли Тюмень?

– А я почему знаю?

Когда глядел в ее лицо – смутно вспоминал питерскую страшную ночь, позолоченную лепнину Зимнего дворца, винные ручки в погребках, черный металлический сверк Невы. И кружевной чугун моста. И запах табака, едкого дешевого дыма, ножами режущего ноздри и легкие.

«Что я... зачем Петроград... к чему еще эти сны... все правильно мы сделали, рабочие, солдаты, моряки... все – верно... вернее некуда...»

Небо распахивалось серыми женскими глазами, серое, холодное, лукавое, казнящее. Поезд подходил к Тюмени, и опять это оказывалась другая станция.

И так они ехали вечно, и рельсы мотались солеными селедками перед черной собачьей мордой паровоза, и дышали они дымом и гарью, и легкие у них чернели, и умыться было неоткуда и негде, и на станциях Пашка приносила в горсти снег: он таял, она умывала талым снегом себе лицо, ее щеки румянились, и этими мокрыми руками она проводила по небритым Мишкиным щекам, хохоча, будто ее щекотали, – а потом враз, сурово и мрачно и надолго, умолкала.

## Глава вторая

«А когда я ехал с ямищиком, то после боя я был сильно утомился, потому что я не спал трое суток, а когда меня вез ямищик, то я лег и наказал ямищику, чтобы он не доезжал до деревни Беловой километр, чтобы меня разбудить. Но когда я заснул, то ямищик был кулак и он меня привез к белым, вместо того чтобы разбудить. И в этот момент сонного меня обезоружили и давай меня бить, издеваться. Били меня до бессознания, я не помню, вдавили мне два ребра, сломали мне нос, а когда дали мне опомниться, то дали мне лопату и заставили меня рыть себе могилу тут же на месте. Но остальная сволочь кричит: „Здесь его не убивайте, а вывезти на могилу“. Но мое пролетарское упорство: я с места ни шагу, и говоря: „Если вам, гады, нужно, то расстреливайте на месте.“ В этот момент вдруг является молодой человек лет двадцати что ли двух и предложил меня отпустить, который сказал, что Прокудин в этом не виновен, он был поставлен властью и его пустить во все четыре стороны и пусть идет. Да еще за меня застоял один бедняк, который меня охранял, и сказал, что завтра же придут красные и расстреляют нашу всю деревню, а пусть он идет. И я был отпущен. А когда меня отпустили, то я не мог никак двигаться, а после на бой сразу. Мне надо было воды, то мне никто не дал воды. Нашелся один сознательный старик, не боясь ничего, он мне немного помог, запустив меня к себе и дав мне попить. И пробыв я у старика до ночи, и я пошел нанял ямищика довести до своей деревни Коноваловой. Приехав к отцу в двенадцать часов ночи, и я начал стучать. Отец испугался и говорит мне, что тебя приходили три раза с винтовками арестовывать. Брат спросил отца, что кто это. Отец сказал, что твой брат приехал. Брат и велел отцу впустить и говорит, что нам нечего бояться, если его убьют, то мы будем знать, что где он будет похоронен. А когда я вошел в дом отца, то тут быстро меня узнали свои родные и хотели приготовить сухарей, отправить меня скитаться. Но тут же быстро узнав, кулаки нашей деревни пришли, меня опять арестовали и повели меня расстрелять самосудом. А когда меня привели, то я пришел и спрашиваю: „В чем дело?“ Мне говорят кулаки: „Что, устояла ваша власть?“ – и говорят, что мы тебя, бандита, расстреляем, и приговорили меня расстрелять на кладбище. Но я благодаря своему упорству, я им сказал, что: „Гады, стреляйте меня на месте, а я туда не пойду.“ А в это время староста Канев Иван Иванович выразил обществу: „За что мы его расстреляем? Сегодня – белые, а завтра – красные. Нам всех не перестрелять, да и глупо будет“, – и велел отпустить, что он и так убит: „Пуцай отдыхает, дело не наше“. Меня отпустили домой. Но я домой не пошел, а зашел к одному бедняку, который меня заложил под перину, и я там спасся, меня больше года не нашли».

*Из воспоминаний Григория Иосиповича Прокудина,  
жителя деревни Байкаим Кузнецкого округа Сибирского края. 1918 год*

От стен дома волной шел и захлестывал холод. Дров отрядили мало. Михаил ежил плечи, дул в ладони. Внутри, в легких, перекачивались остатки молодого жара.

Он тихо, как кот, ступая, пошел по дому. Медленно, слоновьи тяжело наступая на всю ступню, поднялся по лестнице. Холод и молчание, и больше ничего. Эти – затаились. Не шевелятся, не болтают на ихнем заморском.

Стекла трещали от ударов мороза. Мороз синим кулаком бил и бил в окна.

«И будет еще лютей, – подумал Михаил и почесал щеку, и еще и еще почесал, чтобы щека разогрелась от жесткого карябанья, – аж звезды вымерзнут».

Он нутром чуял: еще жесточе завернет зима.

Что ж они, в Рождество-то, умерли, что ли?

Тишина жутью залепляла уши.

Через стекла длинными иглами входили и входили, вползали звезды в грудную клетку.

Михаил постучал себя кулаками по груди, будто кто-то там у него засел, плененный: зворок ли, птица. И надо, разломав ребра кулаками, выпустить его на волю.

Охлопал себя ладонями по плечам, по-ямщицки: так у них в Новом Буяне ямщики, после перегона, топчась на снегу, охватывались, сами себя грели. Хлопки гулко раздались и истаяли в пьяной тишине.

Шел по коридору. Чувал себя червем, проползающим сквозь слой тихой земли. Из-под двери сочился свет. А, все ж таки не спят. Не спят!

Любопытство закололо плечи ершовыми плавниками. Лямин остановился и приник щекой к притолоке. Сощурил глаз. Ему не впервой было подсматривать.

Глаз, судорожно дергаясь в глазной впадине, зрачком шарахаясь, искал среди них, сидевших за столом, Марию.

Да, вот она.

Сглотнул. Кадык дрогнул. Квадрат людских затылков над квадратом стола. Странно застыли. Словно слушают. Страшную музыку. А может, приятную. Ангелы им поют на небеси!

Руку воздел, чтобы дверь толкнуть. Рука замерла. Сжалась в кулак. Кулак ко лбу поднес. Подглядывать – продолжил.

Чтобы шевельнулись, ожили – ударил сапогом о сапог.

Затылки задвигались. Появились профили и лица. Профили оборачивались друг к другу. Лица опять застывали холодными блинами, острыми тесаками. Михаил рыскал зрачками: цесаревича не видел. Спит, болезный. А елка-то где?

Вспомнил, как сам в лесу рубил. Сам тащил сюда.

И цесаревичу – показывал. Схватив за ствол, мелко тряс, и бесшумно отрясался на паркет мелкий жемчуг снега.

А цесаревич слабо, больным котенком, улыбался, показывал клычки и мелкие, как у матери, нижние зубы. И протягивал руку, и палец касался зелени иголок, как раскаленной в печи кочерги. Руку отдергивал. Михаил всем телом дергался в такт: так пугал царенка. А потом смеялся, грубо и хрипло, и цесаревич вторил ему: звонко, жаворонком. И Михаил, опомнившись, кричал: «Отставить!»

Тяжесть елки на плече. Корявый ствол, духмяная хвоя, крепкий спиртовый запах. Ему приказали, он исполнил, делов-то.

«Небось, спит в комнатенке своей. Мать укрывает его одеялами. Свое, небось, отдает, дочерины наваливает. А то рядом с ним под одеяло заползает, телом греть».

Задрожал под гимнастеркой. Холод пробирался под шинель. Шинелишка мала, в плечах жмет. «А как царевны? Им-то что в сугробе, что в спальне, одно. Тоже друг с дружкой... может, и кровати сдвигают...»

Он догадывался верно: цесаревны в лютейшие морозы спали парно – Ольга с Татьяной, Мария с Анастасией.

Зрачки поймали выблеск пламени. Уши уловили легкий треск. Горели в камине дрова. Время сжирало дерево, людские тела, воздух и камни. Оно оказывалось, как ни крути, сильнее огня и всего, что Михаил знал.

«Тоска им тут... Тоска».

Цесаревича увидал, как в тумане. Прозрачный цесаревич призрачно улыбался.

Мялся с ноги на ногу. Но от дверной щели не отходил.

Из щели сочился нездешний свет. Такого он в своем, сером и грязном, кровавом мире не видал и вряд ли уже увидит.

Поэтому глядел жадно, хищно.

Елка стояла на столе. В центре стола, как в центре мира. На одном краю стола и на другом пылали и чадили две свечи: одна – огарок, другая тонкая и крепкая, с рвущимся, как кровь из аорты, пламенем. Иглы топорщились так рьяно, что ветки казались толще руки. Сизые, синие иглы. Кожу на спине Лямина закололо: будто бы морозом из залы дико, темно дохнуло.

Ни одной игрушки на елке. Ни свечи жалкой.

Он следил, как Мария, зябко поведя плечами под тонкой вытертой козьей шалью, подняла руки и огладила ближайшую к ней ветвь, как оглаживала бы дикую, опасную росомуху: с любопытством, испуганно и нежно. Белая рука, будто хрустальная. Будто – игрушка, и висит, качается... плывет.

Его проняло: оказывается, человек – тоже игрушка!

– Да еще какая, – выплюнул сквозь зубы бесслышно, – еще какая выкобенистая...

Что у них там на столе? Рождество – без пирога, без утки, запеченной в яблоках, без французского салата оливье с раковыми шейками и анчоусами? Сидели, гладили пустую скатерть. Ан нет, вон тарелка; и на тарелке нечто. Присмотрелся. Хлеб! Просто, крупно нарезанный ржаной хлеб. Цесаревич взял в руки кусок хлеба, понюхал. Нюхал так долго, что нога Михаила затекла, и он тряхнул ею, лягнул тьму. И чуть сапог с ноги не сронил.

Мать сидела горделиво, жестко. Расширевшая старая спина, а жесткий юный хребет. Он часто видел, как бывшая царица, сидя в кресле, вытягивает вперед себя ноги, не железные, живые; распухшие, больные. Разношенные, когда-то роскошные туфли спадают. Пальцы в толстых носках шевелятся, брови и рот искривлены страданием. Будто кислого поела, лимон изжевала. Тогда Михаил странно, постыдно жалел ее.

Татьяна склонилась к матери, так двигаются тряпичные куклы. В руке она держала белый квадрат. Конверт, подумал Михаил сперва, письмо! Нет: тетрадь. Михаил разглядел: странная тетрадка-то, узкая, что твоя чехонь, и вовсе не белая, а лиловая. Татьяна ближе посунулась к царице и обняла ее за шею. Зашептала в ухо. Шепота он не слышал – слишком далеко сидели. Царица взяла тетрадь медленно, словно лунатик. Так же медленно притиснула к груди.

Царь смотрел взглядом долгим, скучным. Потом перевел водянистые, стеклянные глаза на елку.

И глаза стали зеленые. Глубь болота.

Царские глаза, перламутрово катаясь подо лбом, что-то увидели на обложке тетради. Николай протянул руку ладонью вверх. Александра положила в нее тетрадочку. Тетрадь величиной с ладонь. Записная книжка? Михаил слышал, как он дышит. Затылки дрогнули. Сидящая к нему спиной обернулась. Анастасия. Она держала нож. Узкий, длинный.

И наверное, остро наточенный. Впрочем, есть ли у них наждак?

Стул упал с грохотом. Цесаревич пропал. Да и был ли?

Надо отнять нож. Как ни крути, это оружие.

И тут он не выдержал. Рванул дверь на себя. Бронзовая ручка в виде оскаленной морды льва обожгла пальцы.

Он не знал, что скажет. Да все равно было.

– Здррасте, мое почтение! – Издевательски, петушино взвился голос. – С Рождеством... ха-ха, Христовым всю компанию! – Кегли голов дрогнули, покатались – кто набок, кто к нему, кто прочь. – Как там, волсви со звездой... путешествуют?..

Анастасия хотела встать строго, да не вышло. Стул упал с грохотом.

– С Рождеством Христовым вас!

Глаза скользили по царственным головам.

Вот она, вот.

Руки Марии, прежде сильные, тяжелые, обливные, исхудали. Щеки ввалились. «Да, едят скудно. А откуда мы харчей напасемся?» Глаза огненно, охально очерчивали мягкие выпук-

лости груди под чистой, и, казалось, хрустящей серой бязью. Мария часто и сильно дышала, и ему почудилось – хрипит она, простужена.

«Немудрено. Такой холод на дворе и в доме».

– Садитесь с нами, – с трудом выжал из посинелых губ царь.

Сесть? Не сесть?

Подумал про караул.

«Мужики меня потеряли. И Пашка... тоже».

Ольга и Татьяна вскочили. Обе уступали место. Ему, охраннику – великие княжны!

В груди будто искра разгорелась; кишки запыхали. Сел. Бессмысленно потянул со стола салфетку, злобно смял в грязных пальцах. Анастасия рядом. Косилась, как кошка на мышь, на мозоли на его пальцах – от винтовки.

О чем говорить? Не о чем говорить.

«Я для них грязь. Пыль. Они мне через голову смотрят. Хуже коняги, хуже быка я для них. Скотину хотя бы кормят, ублажают. Ласковое слово бормочут. Ну вот сел я. Молчат! И будут молчать».

Сам не понимая, как это из него стало вырываться, плескать крыльями, вылетать, он хрипло запел:

– Ой Самара городок, беспокойная я! Беспокойная я, успоко-о-ой ты-и ме-ня...

«Вот вам. Вот. Вместо Рождественских тропарей ваших!»

На Марию не смотрел. Будто она реяла где-то высоко, над потолком, над зимними ночными облаками.

– Платок тонет и не тонет... потихонечку плывет! Милый любит ай не любит – только времячко ведет!

«Ишь, сидят. Слушают. Да она бы, царица, мне б, если могла – по губам бы кулаком дала!»

– Милый спрашивал любви! – Пел уже зло, с нажимом. Бил голосом, как молотком, по словам. – Я не знала, што сказать! Молода, любви не знала! Ну и...

Мария встала. Он увидел это затылком.

– Жалко отказать!

Ухмыляясь, скалясь, вот теперь обернулся к ней. Глазами стегнул по ее глазам, по щекам. Синий от холода нос, а щечки-то горят.

– Папа, можно, я угощу господина... товарища Лямина?

Глаза поплыли вбок, хлестнули стол. Пальцы Марии скрючились и цапнули кусок ржаного. Она подала хлеб Михаилу, как милостыню.

И он взял.

Песню прервал.

«Глупо все. Глупо».

Елка топырила сизые лапы. Изо ртов вылетал пар. Михаил вонзил зубы в ржаной и стал жевать, ему самому показалось, с шумом, как конь – овес в торбе.

Доел. И как шлея под хвост попала – опять запел.

Губа поднималась, лезла вверх; ослабилась, обнажил желтые от курава зубы.

– А раньше я жила не знала, што такое кокушки! Пришло время – застучали кокушки по жопушке!

Царица закрыла рот рукой. Будто бы ее сейчас вырвет. Дверь в другую комнату раскрылась, как крышка треснувшей шкатулки; вышел, ступая сонным гусем, цесаревич, настоящий, во плоти, обеими руками держал на плечах одеяло, как шкуру медведя; одеяло волочилось по полу, подметало мусор.

Алексей глядел круглыми напуганными глазами. Так глядит из клетки говорящий попугай, не понимая, что лепечут странные страшные люди.

– С Рождеством Христовым, мама, папа! Сестрички!

– Кокушки... по жопушке... – тихо, все тише повторил Лямин. С черного хлеба он опьянел, и водки не надо.

Анастасия ловко сунула руку под елку. Вытащила нечто. Он думал, это подарок, а это оказалась тарелка с гречневой кашей. И, о чудо, сверху каши лежало смешное, коричневое!

Котлета, давясь от неприличного смеха, догадался он.

Анастасия подвинула по столу тарелку ближе к Алексею. В ее глазах стояли слезы. Опять ненастоящие, хрустальные елочные висюльки. И сейчас прольются-разобьются.

– Алешинька... это тебе...

Каша и котлета, как это мило. Нежно.

Михаилу захотелось плюнуть на пол. И ударить кулаком эту елку на столе, и сшибить к чертовой матери.

Но он не ударил. И не плюнул.

Мария так ясно, прямо смотрела. Она не глядел на елку; ее взгляд горячим сургучом лился на него, злого, потерянного, застывал, запечатывал.

Алексей затрясся, сдернул с плеч одеяло, подложил под себя, на сиденье, сел. Ему в руки воткнули ложку. У ложки крутилась, голову кружила витая ручка. Серебро почернело, и витки спирали вспыхивали рыбьей чешуей. Михаил смотрел, как цесаревич ест. И сам шумно подобрал слюни. И вытер кулаком рот. Часы в другой, иной, инакой, за семью морями, комнате забили: бом-м-м-м, – один раз. И задохнулись.

Час ночи. Час.

И, когда они все, вся семья, встали за столом, все, как по команде, перекрестились и запели: «Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в нем бо звездам служащий звездою учахуся, Тебе кланяются, солнцу правды!» – он встал, пятясь, онемевшей рукой оттолкнул прочь от себя тарелку со ржаным, она заскользила по столу, докатилась до края, чуть не упала, и Мария, закусив губу, поймала ее, да неудачно: тарелка живой рыбой вырвалась у нее из рук, грянулась об пол и разбилась. Хлеб разлетелся.

– ...и Тебе ведети с высоты Востока, Господи! Слава Тебе-е-е-е-е!

\* \* \*

Михаилу в нос ударила вонь сырых портянок. Красногвардейцы дрыхли кто как, вповалку. Кто на кроватях; кто на полу. Полom не гнушались: а какая разница, от панцирной сетки все одно холодом несет. Михаил угнездился у окна. Через раму дуло. Ветер на улице мужал, наглел. Лямин вылез из шинели, накинул ее на плечи, медленно потянул на голову. Натягивая, уже спал. Во сне ему привиделось – он ищет Пашку, ищет, ищет и найти не может. А она вроде бы храпит тут же, рядом. Возле. И он тычет кулаком в мягкое, пахучее женское тесто – а натывается на колючие заиндевелые доски заплота. И занозы всаживаются ему в кулак, и он выгрызает их зубами, и кровь на снег плюет, и матерится.

...Густо, пряно, маслено гудел колокол. Мощный, басовый.

Цари шествовали по улице во храм Покрова Богородицы, а впереди, с боков и сзади шли конвойные. Перед носом царя мотался колоколом кургузый, недорослый, в полушубке с чужого плеча, солдат по прозвищу Буржуй. Слева шли, на всякий случай винтовки в руках, а не за спиной, Сашка Люкин и Мерзляков. Справа шагал четко и сильно, будто почтовые штемпели подошвами сапог ставил на белых конвертах снега и льда, Андрусевич. Рядом с ним – комиссар Панкратов. Лямин замыкал конвой. Ребра сквозь шинель чуяли ледяную плаху приклада.

Ремень давил грудь. Он поправил его большим пальцем; пошевелил пальцем внутри голицы. Палец ощутил, ласково осязал кудрявый бараний мех рукавичного нутра. «Хорошие голички, Пашке спасибо, уважила».

Это Пашка ему пошила. И ловко же все умела, быстро. Что винтовку шомполом почистить, что щи в чугуне заделать – пустые-постные, а пальчики оближешь.

А интересно вот, да, она-то, *она* умеет что постряпать?

Забавно шли в церковь: впереди не родители, а дети. Гусак и гусыня назади, а выводок перед собой вытолкнули. И быстро же девки перебирают ногами. Шубенки пообтрепались. А залатать некому и нечем.

«Лоскуты им, что ли, где раздобыть овечьи. Пашку заряжу, починит».

Мария ступала, ему так чудилось, легче всех.

«Как по пуху, по снегу идет. А снег под ней... музыкой пищит, скрипит...»

Народ около церкви кучковался, сбивался, густел, вздувался черными и серыми пузырями. Мех шапок лучился жестким наждачным инеем. Мужики шапки сдергивали у самого входа, перед надвратной иконой Одигитрии, сжимали в руке или крепко притискивали к груди, крестясь. Бабы не улыбались; обычно в Рождество все улыбались, сияли глазами и зубами, а тут как воды в рот набрали. Будто – на похороны пришли, не на праздник.

Михаил понял: народ согнался на царей дивиться.

Ну, зырьте, зырьте, зеваки. Такого-то больше нигде не узрите. А только у нас, в Тобольске! Посреди Сибири, снежной матушки!

Вместе влились густым людским варевом внутрь церковного перевернутого котла: и точно, как на дне котла, копоть икон со взлизами золотых тарелок-нимбов, черные выгнутые стены, и катится по ним жидкая соль слез и пота, застывает, серебрится.

Цесаревны встали цугом, как лошади, запряженные в карету, Алексея дядька в тельняшке держал на руках; потом бережно опустил на огромную, погрызенную временами каменную плиту. Александра Федоровна стояла в ажурной вязаной шали. Край шали, с белыми зубцами, касался щеки и, видимо, неприятно щекотал ее; царица рассеянно подсунула под шерсть пальцы и отогнула ее, и шаль мигом сползла ей на плечи, на воротник лисьей шубы.

Священник пел, гремел ектенью, да увидел простоволосую. Насупился и выбросил вперед руку, как дирижер, а старуха уже испуганно платок на лоб водружала. Устрашилась! Как простая! Как мещанка, как баба деревенская!

А что, они такие же люди, как все мы. Точно такие. И кровь у них не голубая, а красная.

«Как наше знамя».

Гордо подумал, и мороз когтями голодного кота подрал у него под лопатками.

Они стояли: муж и жена, и жена гляделась выше мужа. Малорослый полковничек-то при супружнице. Чуть бы ему подлинней вытянуться. Или это она – на каблуках?

Скосил вниз глаза. Из-под шубы царицы торчали серые тупоносые катанки. Снег на них подтаял в храмовом тепле, и капли воды сверкали отражением свечного огня.

Михаил с трудом перекрестился.

Для него Бог был, и уже Бога не было. Как это могло так совмещаться? Он не знал. А раздумывать на эту тему было не то чтобы боязно – недосуг.

– Блажени плачущии, яко тии утешатся! – гремел архиепископ Гермоген.

Рядом с царицей стояла баба в огромном, как стог сена, коричневом шерстяном платке с длинными кистями. Когда архиепископ грянул: «Блажени кротцыи, ибо тии наследят землю!» – по щекам бабы потекли быстрые веселые слезы. Она грузно повалилась на колени и, быстро и сильно осеняя себя крестным знамением, повторяла шлепающими, лягушачьими, большими губами:

– Ох, блажени! Ох, блажени!

И все крестилась, крестилась. У Михаила замелькало в глазах, будто он на крылья мельницы глядел.

Нехорошо вокруг творилось. Народ все прибывал. Все душней становилось, дышать было невмочь. Народ тек и тек, трамбовался, груди прижимались к спинам, и перекреститься нельзя было, не то чтобы свечку горящую держать. Кто-то ахнул и упал без чувств; расталкивая локтями и коленями толпу, с трудом выдрались, вынесли на мороз, на солнце. Двери храма не закрывались. Гермоген служил, голову задирает, следил за паствой. Дьякон мельтешил, то подпевал, то кадило подавал, и курчавые завитки дыма обвивали повиликой торчащие из рас-трубов парчовых рукавов руки-грабли.

«И стреляют попы, и картошку копают, и охотятся. Все умеют. Не белоручки».

Мысли подо лбом вспыхивали насмешливо, гадко.

...Родители старались: молились, крестились, и дети крестились.

...Они крестились все по-разному. Как неродные.

Анастасия остро, будто клювом дятла – кору, клевала, била себя в лоб, грудь и плечи. Будто бы себя – наказывала. Татьяна медленно, нежно подносила щепоть ко лбу. Алексей крестился восторженно, ласково. Он ласкал себя, приветствовал. Возлюби ближнего, как самого себя, – а и самого-то себя любить не умеем! Ольга крестилась гордо и размеренно. Ее симфония звучала торжественно, как и требовало того торжество Рождества.

Мария крестилась незаметно. Широко, будто не рукой, а воздухом. Порывом ветра. Он чувствовал ветер, от нее доносящийся. Жмурился, как слизнувший сметану кот: брежу, спятил! Мария приподнялась на цыпочках, улыбаясь далекому, гремящему золотому Гермогену, и ее ступни оторвались от пола, она зависла над холодными выщербленными грязными плитами, повисела чуть – и плавно, очень медленно поплыла над полом, вперед, к амвону, ибо ее никто не теснил: вся толпа стояла и давилась за спиной, сзади.

«Умом я тронулся, мама родная. Богородица, помоги».

Вот сейчас он готов был поверить в кого и во что угодно.

В спину Лямина уперлась жесткая кочерга чужого локтя. Завозились, завздыхали.

– Ой, божечки! Вон они, вон они!

Конвойные теснились, ворчали. От Андрусевича крепко тянуло табаком. Смуглые ноздри округлял. Лямин видел: курить хотел, мучился. Сашка Люкин сплюнул, слюна попала на плечо царя, на его шинель без погон. Держалась за сукно утлой серой жемчужиной.

Архиепископ тяжело, с натугой пропел одну громоподобную фразу, вторую. У Михаила заложил уши. Панкратов презрительно поднял плечи, и погоны коснулись его ушей, отмороженных красных мочек.

Дьякон вдруг выше, высоко поднял горящую свечу. Гермоген раскинул руки – в одной дикий, в другой трикий. Перекрестил руки; огонь запылал мощнее на сквозняке, морозным копьём пронзающем толстую плотную духоту.

Дьякон, широкогрудый, мощный, как баржа по весне на Иртыше, груженная углем, набрал в легкие щедро воздуху.

– Их Величеств Государя Императора и Государыни Императрицы-ы-ы-ы-ы...

Сашка Люкин посмотрел на Лямина, как на зачумленного.

– Што, сбрендил? – беззвучно проронил Мерзляков.

– Их Высочеств!.. Великих Княжон Ольги, Татианы, Марии, Анастасии-и-и-и-и...

Буржуй дернул плечами и заверещал:

– Эй ты, стой! Заткнись!

Куда там! Вокруг вся могучая толпа странно, едино качнулась и празднично возроптала. Писк Буржуя угас в гудящем и плывущем пространстве. Сгинул во вспышках – в угольном подкупольном мраке – лимонных, прокопченных страданием нимбов и алых далматиков.

– Его Высочества Великого Князя, наследника Цесаревича-а-а-а... Алексия-а-а-а-а!

– Молчать! – беззвучно из-под висячих табачных усов крикнул Андрусевич.

– Многая, многая, мно-о-о-огая... ле-е-е-е-ета-а-а-а!

Конвой увидел то, что видеть было нельзя. Народ валился на колени, и его было с колен не поднять. Ни ружьем, ни штыком, ни прикладом.

Если бы они сейчас всех перестреляли, перекосили в этой проклятой вонючей церкви из пулемета – никто бы все равно с колен не встал.

Темный воздух резко, радостно просветлел. Лямин задрал башку: откуда свет?

«Будь проклят этот свет. Этот чертов храм!»

Старался не смотреть на Панкратова. Теперь комиссар ему задаст! Почему – ему, он и сам не знал. Старшим у них был Мерзляков, мрачный молчун. Лишь глянет – вытянешься во фронт. Глаза такие, бандитские, собачьи, ножами режут.

Толпа качнулась вперед, назад. Толпа готова была подхватить царей на руки. Проклятье! Как мать.

Толпа – мать, и царь – отец. Как все просто. И пошло.

Как обычно устроен мир.

Но теперь мы его перестроим. Перекроим!

И никаким Гермогенам... в их ризах, в парче...

– ...та-а-а-а...

Под куполом эхо умерло. И кусками слез и дыхания обваливалась, как штукатурка, тишина.

Гермоген счастливо перекрестил паству. А рука его дрожала.

...Мерзляков и Панкратов дождались отпуска и целования креста. Народ уходил медленно, нехотя, люди оглядывались; и глядели даже не на царей – на них, стрелков, на конвой, будто они были какие попугаи заморские.

Михаил зло скрипнул зубами.

При выходе из церкви постарался боком, локтем задеть Марию, прижаться. Она хотела шарахнуть, он видел; потом удержалась, дрогнула круглым, как репа, подбородком, губы расплзлись в робкой улыбке.

– Извините. Я вас задела.

– Это я вас задел.

Снег капустно, хрипло хрустел, пел, пищал под сапогами, валенками, ботами, котами, катанками, лаптями, башмаками. Лямин знал: комиссар и Мерзляков остались в церкви. Они сейчас архиепископа и дьякона вилами, как ужей, к стене прижмут.

А может, и к стенке поставят. Сейчас быстрое время, и быстрые пули.

\* \* \*

Лямин раскуривал «козью ножку». Свернул из старой газеты. Пока сворачивал, читал объявления в траурных рамках: «ВЫРАЖАЕМ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ...», «С ПРИСКОРБИЕМ СООБЩАЕТ СТАТСКИЙ СОВЕТНИК ИГОРЬ ФЕДОРОВИЧ ГОНЗАГО О КОНЧИНЕ ЛЮБИМОЙ СУПРУГИ ЕКАТЕРИНЫ...»

Смерти, смерти. Сколько их. Смерть на смерти сидит и смертью погоняет. В жизни нынче вокруг только смерть – а он все жив. Вот чертяка. Втягивал дым и себе удивлялся.

Ушки на макушке: слушал, что товарищи балакают.

И снова удивился: раньше так к их бестолковому, жучиному гудению тщательно, с подозрением, не прислушивался.

– А Панкратов-то у нас игде?

– Исчез! Корова языком слизала!

– Таперя гуляй, рванина!

- А чо гуляй-то, чо? Раскатал губищу-т!
- Да на Совете он.
- Как так?
- Как, как! На нашем Совете!
- На Тобольском, да-а-а-а!
- Срочно собралися.
- А чо срочно? Беляки подступают?
- Сам ты беляк! Заяц!
- Но, ты мне...
- Спирьку я посылал туды. Уж цельный день сидят. Спирька бает: так накурено, так!..

Насмолили, аж топор вешай. И грызутся.

- А что грызутся-то?

Козья ножка дотлевала, красная крохотная звезда пламени медленно, но верно добиралась до Михайлова рта. Искурил, на снег горелого газетного червяка бросил. Сапогом прижал.

– Да то... Спирька-то глуп, барсук, туп... а запомнил. И мне донес. На комиссара бочку катят. Обличают. В мягкотелости! Добр, кричат, ты слишком. Велят с бывшими энтими, с царями, обходиться суровой.

- Дык куды уж суровой. В голоде держим их, кисейных, в холоде. К иному ведь привыкли.
- Ну да. К перламутровым блюдечкам, к чайку с вареньицем из этих... этих, ну...
- Баранки гну!
- Из ананасов.
- Они и вишневое небось трескали, и яблочное. Чай, в Расее живем, не в Ефиопии.
- И чо хотят-то? Штоб мы их... энто самое?
- Дурень. Спирька тебя умнее. Сдается мне, за решетку их хотят затолкать. Дом – одно,

тюряга – другое, понимай.

- Врет он все, твой Спирька! Брешет!
- Это ты брешешь, кобель блохастый.

Беззлобно перебранивались, кашляли, под нос песни гудели. Всяк скучал по дому. А он, Михаил, по Новому Буяну – скучал?

Спросил себя: тоскуешь, гаденьш?

Отчего-то себя гаденьшем назвал, и стало смешно до щекотки.

– А эти, эти! Попы, хитрованы! Вот кого надо удавить. Передавить всех, как вошей. К ногтю, и делов-то!

- А чо ты так на них? Попы они и есть попы. Были всегда.
- Газеты читай!
- Да я ж неграмотный.
- Врешь! Я видал, ты помянник мусолил.
- Да у меня матери година. Помянуть хотел.
- Видишь, читаешь, значит!
- А чо в газетах-то?
- А то. Патриарх Тихон на большевиков – анафему!
- Ана-а-а-фему?!
- Анафему, вон как...
- И чо? Велика ли сила в той анафеме? Сказки поповские все это!

Михаил отнял ногу от снега. Подошва сапога отпечаталась глубоко и темно, словно белую сырую простыню прожег утюг. Окурочок лежал тихо и мертво, вмятый в снег.

«Сказки, сказки», – повторял про себя Лямин, все ускоряя и ускоряя шаг.

...Взбежал по лестнице в дом. В коридоре дверь чуть приоткрыта. Ввалился боком. Знал: там не пусто. Прасковья стояла у окна. Взгляд ее уходил далеко в морозную синеву, она будто нить тянула сразу из двух зрачков, а некто огромный, заоконный ту нить на холодный палец наматывал.

Обернулась, да уж лучше бы не оборачивалась. Ее лицо с широкими, косо срезанными скулами будто медной плоской покатило в лицо Лямина, и он отшатнулся от охлеста безжалостных глаз.

– Ну что ты, – шептал, как норовистой лошади, все-таки шагая к ней, себя преодолевая. Женщина, он видел, сложила рот для того, чтобы смачно плюнуть. Ему в лицо.

– Плюй! – крикнул он.

Она неожиданно и круто повернулась к нему спиной.

Потом странно быстро наклонилась. Вцепилась себе в ремень. Истериичные пальцы не сразу справились с застежкой. Он изумленно глядел, как спадают с ног бабы солдатские порты.

Белизна ляжек ошеломила. Пашка наклонилась до полу, выставив белый крепкий зад. Ягодицы торчали незрелыми помидорами. Ладонями она трогала, ощупывала половицы, как если бы они были живые рыбы и уплывали, ускользали.

– Ну! – теперь крикнула она. – Что стоишь! Валяй!

Туман закружился передо лбом, надвинулся на лоб плотной серой шапкой. Ноздри, раздувшись, поймали женский запах. Ноги уходили, а нутро оставалось. Качался, как в лодке посредине реки.

– Ну что! Давай! Трусишь? Или...

Он, заплетая ногами, подбрел к этому белому, круглому, жаркому, – знакомому, родному. И в этой унижительной, рабской согнутости она все равно стояла на расставленных кривоватых, кавалерийских ногах крепкой, гордой и сильной. Сила перла вон из нее, полыхала, уничтожала его, давила; он был всего лишь насекомое, и его прихлопнут сейчас, сдуют с ладони.

«Я возьму ее... возьму, она хочет!»

«Врешь: это не ты возьмешь, а тебя возьмут. И съедят. И выплюнут».

Уже прижимался животом к ее горячему, вздрагивающему твердому заду. Качался вместе с ней, терся об нее. Умирал, дышал захлебисто, ладони уже сами, не слушаясь, хватали свисающие под гимнастеркой тяжелые мягкие груди. А если кто войдет!

«Составят тебе компанию, и ее отнимут... выдернут у тебя из рук... повалят...»

Мутились пучеглазые, глупые рыбы-мысли

Вдруг Пашка вывернулась из-под него винтом, крутанулась, выгнула спину. Брякал ремень. Медно, звонко брякало о ребра сердце. Он ловил ее по комнате ошалелым медведем, голодным шатуном, а она уворачивалась, и на щеках вспыхивали ожоги – это она лупила его по щекам, да, ах, а он только что понял.

Пощечины звучали тупо и глухо, будто били в ковер палкой, выбивая пыль. Потом прекратились.

Гимнастерка поверх ремня. Лиф расстегнут. Пахнет лилиями от ее живота! В бане часто моется, не то что они, заскорузлые мужики. Он слышал свое дыхание, и оно такое громкое было, что – оглох. Тонким комариным писком зазвенел в висках далекий сопрановый колокол.

«Ко Всенощной звонят, в Покрова Богородицы», – билась кровь, разрывала мозг.

\* \* \*

Вспоминать можно всяко.

Можно лечь спать, смежить веки, и под лоб ползет всякая чушь.

Можно бодро и упруго идти, а сапоги все равно тоскливо вязнут в нападавшем за ночь, густом, как белое варенье, снегу, – и то, что помнишь, будет летать перед тобой голубем, воробьем.

Можно курить на завалинке, долго курить: искурить сигарку, а потом новую свернуть, а потом, когда табаку не останется в кармане, делать вид, что куришь, посасывая клочок бумаги; так выкроишь себе кус времени, а прошлое обступит, затормошит, не даст покоя.

И выход только один – идти к солдатам и еще табаку просить, чтоб одолжили.

...Когда прибыли сперва в Тюмень, потом в Тобольск – Советы сразу направили их сторожить царей. Пашка пожалала плечами: сторожить так сторожить. Лямин еще подерзил: а казак царских когда бить?! – да ему вовремя кулак показали: слушайся красного приказа!

Они оказались в одном охранном отряде – те, кто трясся без малого месяц в утлом вагоне от Петрограда до Тюмени: Лямин, Люкин, Андрусевич, Мерзляков, Подосокорь, Бочарова. Подосокорь тут же куда-то сгинул. Может, в Омск направили или в Тюмень обратно, или куда подальше, в Курган, в Красноярск, в Ялуторовск, в Иркутск, в Читку; а может, хлопнули где – свои же, за провинность какую. Сейчас провиниться и пулю заработать – раз плюнуть. Хуже, чем на войне.

А война-то, дрянь такая, идет себе, идет.

И что принят декрет о мире, что нет; вот тоже загадка диковинная.

И земля, кого сейчас земля?

Вот вернется он в Новый Буян – кого там земля будет? Народа – или опять не народа?

А кого? Кого другого?

...Вышли из дома, где Советы заседали, на мороз. Пашка закурила. Спросила Михаила сквозь сизый, остро воняющий жженым сеном дым: а что, они тут, в этих здешних Советах, какие, красные или другого какого цвета, эсеры, меньшевики или большевики? Лямин у нее прикурил. Стояли на крыльце, стряхивали пепел в вечерний, белизной и острой радугой сверкающий сугроб. Ответил: а пес их поймет. Смешалось все в России, и тот, кто сейчас палач, завтра сам встанет к стенке.

И мы встанем, хохотнула Пашка. Она всегда так хохотала – резко, сухой и яркой вспышкой.

Хохотала, будто стреляла.

...Они явились туда, куда им приказано было – и поняли, что не одни они тут стрелки, а есть уже в наличии охрана: с собою бывшим царям из Царского Села гвардейцев разрешили взять. Питерские гвардейцы косились на них. Они – на гвардейцев. Ребята простые; скоро подружились. Вместе курили, вместе в карауле стояли. Вместе пили, пуская бутылку с беленькой по кругу, сидя на холодных матрацах, на зыбучих, вроде как лазаретных койках.

...Вскорости после помещения их всех, из Петрограда прибывших бойцов, на охранную службу в бывший Губернаторский дом, а теперь Дом Свободы, где под арестом содержались эти клятые цари, да уж и не цари вовсе, Пашка уступила ему – слишком сильно и дико, как волк – волчицу, он домогался ее.

А когда все случилось – он уж без нее не мог.

А она – без него? Могла ли она?

Вопросы таяли и умирали, он растапывал их окурками на снегу, сгрызал сосулькой, когда стоял на карауле у ворот и, как в пустыне, хотел пить.

...и вспоминал многое, досасывая во рту ледяную жгучую сладость, вспоминал все: и то, как на станции, забыл название, вроде как Валезино, а может, и Балезино, Пашка вышла купить у баб снеди, а тут состав взял да и стронулся, и пошел; и пошел, пошел, паровоз задымливал, быстрее проворачивал колеса, тянул поезд все быстрее и быстрее вперед, и ухнуло тут у Мишки сердце в прорубь, и он рванулся в тамбур – а там, рядом с вагоном, уже отчаянно

бежала, семенила ногами Пашка, и лицо ее плыло в дыму, а пальцы корчились, крючились, пытаюсь достать Мишкину протянутую руку; и Мишка дотянулся, схватил, на ходу втащил Пашку в вагон, а она заправила волосы за уши и, тяжело дыша, вкусно, смачно чмокнула его в щеку; и то, как после Екатеринбурга в вагон впятился кривой гармонист и все ходил по вагону взад-вперед вприсядку, на гармошке наявивая, и дробно, четко сыпал изо рта частушки, одна другой похабнее; и Пашка хохотала, и все хохотали вокруг, а потом вдруг она присела рядом с маленьким, как гриб боровик, гармонистом, поглядела ему в глаза и громко, Мишка услышал, спросила его: «Хочешь, пойду с тобой? Сойдем с поезда, и пойдем?» А Лямину кишки ожгло диким кипятком, он не мог ни говорить, ни хохотать, хотя, может, это была такая Пашкина шутка; он только смог встать, шатаясь, как пьяный, и рвануть Пашку за руку от одноглазого гармониста. А она вырвала руку и крест-накрест разрешила его глазами. Ничего не сказала, ушла в тамбур и курила, и стояла там целый час.

И то вспоминал, как, уже на подходах к Тюмени, уже Пышму проехали, и Пашка уже расчесывала свои густые, что хвост коня, серо-русые, прямо сизые, в цвет груди голубя, волосы, к прибытию готовилась, вещевого мешок уж собрала, и тут состав внезапно затормозил так резко и грубо, что люди попадали с полок, орали, кто-то осколками стакана грудь поранил, кто-то ногу сломал и тяжело охал, а кто стукнулся виском и лежал бездвижный – может, и отошел уже, – и Пашка тоже упала, гребень вывалился из ее руки и выкатился на проход, и бежали люди по проходу, кричали, наступили на гребень, раздавили. А Пашка стукнулась лбом, очень сильно, и сознание потеряла, и он держал ее на руках и бормотал: Пашка, ну что ты, Пашка, очнись, – и губы кусал, а потом добавил, в ухо ей выдохнул, в холодную раковинку уха под его дрожащими губами: Пашенька.

А она ничего не слыхала; лежала у него на руках, закатив белки.

И то помнил, как на одном из безымянных разъездов – стояли час, два, три, с места не трогались, все уж затомились, – кормила Пашка на снегу голубей, крошила им черствую горбушку, голуби все налетали и налетали, их прибывало богато, и откуда только они падали, с каких запредельных небес, какие тучи щедро высыпали их из черных мешков, – уголодались птицы, поди, как и люди, – а Пашка все колупала пальцами твердую ржаную горбушку, подбрасывала хлеб в воздух, и голуби ловили клювами крохи на лету, а Мишка смотрел на это все из затянутого сажей окна, и сквозь сажу Пашка казалась ему суровым мрачным ангелом в потертой шинели, что угощает чудной пищей маленьких, нежно-сизых шестикрылых серафимов.

Вот именно тогда, глядя на нее в это закопченное вагонное окно, он и подумал – вернее, это за него кто-то сильный, громадный и страшный подумал: «Да она же моя, моя. А я – ее».

\* \* \*

Пашка, если не в карауле стояла, часто сидела у окна комнаты, где жили стрелки. Она-то сама ночевала в другой каморке – ей, как бабе, чтобы не смущать других бойцов, Тобольский Совет выделил в Доме Свободы жалкую крохотную комнатенку, тесную, как собачья будка; но кровать там с трудом поместилась. В этой комнатенке они и обнимались – и Лямин смертельно боялся, что Пашка под ним заорет недуром, такое бывало, когда чересчур грозно опьянялись они, сцепившиеся, друг другом.

Никогда при свиданьях не раздевались – Михаил уж и забыл, что такое голая совсем, в постели, баба; обхватывая Пашку, подсовывая ладони ей под спину, жадно чуял животом то выгиб, то ямину, то плоскую и жесткую плиту ее живота.

Животами любили. Голую Пашкину грудь и то видал редко – раз в месяц, когда на задах, в зимнем сарае, где хранили дрова, разрывал у нее на груди гимнастерку и приникал ртом к белой, в синих жилках, коже цвета свежего снега. А Пашка потом, рьяно матерясь, соби-

рала на земле сараюшки оторванные пуговицы, поднималась в дом и сидела, роняя в гимнастерку горячее лицо, и, смеясь и ругаясь, их пришивала к гимнастерке суровой нитью. Сапожная толстая игла мощной костью тайменя блестела в ее жестких и сильных пальцах.

И, когда свободный час выдавался, Пашка заходила в комнату к стрелкам и садилась у окна.

И так сидела.

Ей все равно было – толчется тут народ, нет ли; не обращала вниманья на курево, на матюги, на размотанные вонючие портянки на спинках стульев; на то, что, завидев ее, стрелки весело кричали: а, вот она, наша мамаша! пришла! явилось ясно солнышко! ну садись к нам поближе, а в карточки шуранемся ай нет?!.. – на эти крики она не отвечала, молчала, придвигала стул ближе к окну – и, как несчастная дикая кошка, отловленная охотником и принесенная в дом, к теплой печи и вкусной миске, в теплую и навечную тюрьму, тоскливо, долго глядела в лиловеющее небо, на похоронную белизну снегов, на серые доски заплота и голые обледенелые ветки, стучащие на ветру друг об дружку.

Сидела, глядела, молчала.

И чем громче поднимались вокруг нее веселые молодые крики – тем мрачнее, неистовее молчала она.

А когда в комнату стрелков входил Лямин, у нее вздрагивала спина.

Он подходил, клал пальцы на спинку стула. Она отодвигалась.

Все в отряде давно знали, что Мишка Лямин Пашкин хахаль. Но она так держалась с ним, будто они вчера спознались.

Он наклонялся к ее уху, торчащему из-под солдатской фуражки, и тихо говорил:

– Прасковья. Ну что ты. У тебя что, умер кто? Ты что, телеграмму получила?

Она, не оборачиваясь, цедила:

– Я не Прасковья.

– Ну ладно. Пашка.

Лямин крепче вцеплялся в дубовый стул, потом разжимал пальцы и отходил прочь.

И она не шевелилась.

Бойцы вокруг, в большой и тоскливой, пыльной и вонючей комнате были сами по себе, они – сами по себе. Крики и возня жили в грязном ящике из-под привезенных из Питера винтовок, забросанном окурками и заплеванном кожурою от семечек; их молчанье – в золоченой церковной раке, и оно лежало там тихо и скорбно, и вправду как святые мощи.

А может, оно плыло по черной холодной реке в лодке-долбленке, без весел и руля, и несло лодку прямо к порогам, на верную гибель.

\* \* \*

– Подье-о-о-ом!

Царь уже стоял на пороге комнаты, где они с царицей спали. Как и не ложился.

Бодр? Лицо обвисает складками картофельного мешка. Кожа в подглазьях тоже свисает слоновьи. Мрак, мрак в глазах. Рукой от такого мрака заслониться охота.

Михаил внезапно разозлился. И когда оно все закончится, каторга эта, цари? Устал. Надоело. Замучился. Да все они тут, все, тобольский караул...

– Все мы встали, дорогой... – Помедлил. – Товарищ Лямин.

Такие спокойные слова, и столько издевки.

Михаил чуть не загвоздил царю в скулу: рука так сильно зачесалась.

Был бы мужик напротив, красноармеец, – такой издевки б не спустил.

– Давай на завтрак! Все уж на столе! Стынет!

«Накармливай тут этих оглоедов. И раньше народу хребет грызли, и сейчас жрут. Нашу еду! Русскую! А сами, немчура треклятая!»

Уже беспощадно, бессмысленно матерился внутри, лишь губы небритые вздрагивали.

Царь посмотрел на него странно, длинно, и тихо и спокойно спросил:

– А почему вы, товарищ Лямин, называете меня на «ты»?

Было видно, как трудно ему это говорить.

А Лямину – нечего ему было ответить.

...Когда в залу шли, гуськом, чинно, девицы в белых передничках – расслышал, как странно, тихо и глухо, на собачьем непонятном языке, переговариваются Романов с Романовой.

Потом – будто нехотя – по-русски забормотали.

– От Анэт письмо. Боричка жив, здоров.

– Какой Боричка? Теософ?

– Друга нашего друг.

– А, понял. Дай-то Бог ему. Да ведь он пулеметчиком?

– Все, к кому прикасалась рука Друга, священны.

– Знаю. Он жениться на Анэт не собрался?

– Нет. Лучше того. Он скоро будет здесь. У нас.

– Вот как. И зачем? Зачем нам революционер? Это чужак.

– Ты не понимаешь. Он родной. Деньги нам везет.

– Деньги? Какие?

– Анэт собрала. Но я ему не верю. Я боюсь.

– Чего ты боишься, душа моя?

– Всего. Возможно, Боричка ставленник Думы. А может, и Ленина.

– Пфф. Ленин – странная оручая кукла. Гиньоль, Петрушка. Он сгинет, упадет с балкона и разобьется. Я не держу его всерьез. Аликс, верь Анэт, она не подведет.

– Я... – Тут они оба перешагнули порог столовой залы, она чуть раньше. – Я верю только Другу. Он из-за гроба ведет нас.

Войдя в залу, замолкли. На столе стыла скудная еда: гречневая рассыпчатая каша, куски ситного без масла, жидкий чай в стаканах с подстаканниками.

Расселись. Девочки разгладили передники на коленях. Как ненавидел Михаил эту их вечную молитву перед трапезой!

Он и сам так молился все свое деревенское детство; почему его с души воротило, когда цари вставали вокруг стола и складывали руки, и читали про «хлеб наш насущный даждь нам днесь», – он не понимал. Рты им хотел позатыкать грязным полотенцем.

«Я схожу с ума, я спятил. Я кощунник! Или уж совсем в Бога не верую? Спокойней, Мишка, спокойней. Это ж всего лишь люди, Романовы им фамилия, и они читают обычную молитву перед вкушением пищи. Что разбушевался, рожа красная?»

В зеркале напротив, в черном пыльном стекле с него ростом, видел себя, рыжий клочок волос надо лбом, гневной дурной кровью налитые щеки.

Помнил приказ: за семьей досматривать везде и всегда, поэтому не уходил из зала. Бегал глазами, щупал ими все подозрительное, все милое и забавное. Все, что под зрачки подворачивалось: веснушки на Анастасином носу, золотые, червонные пряди в темных косах Марии, гречишное разваренное зерно, как родинка, на верхней, еще безусой губе наследника. Желтую грязную луну медного маятника. Острый локоть бывшей императрицы, когда она подносила ложку с кашей ко рту, надменно и горько изогнутому. Она и ела, будто плакала.

Жевали молча. Отпивали из стаканов.

– Молочка бы. Холодненького, – тоскливо и голодно, тихо сказал наследник.

Царь дрогнул плечом под болотной гимнастеркой.

Мариин профиль тускло таял в свете раннего утра. По стеклам вширь раскинулись ледяные хвощи и папоротники. Михаил стоял у двери, и не выдержал. Отступил от притолки, каблук ударился о плинтус. Шаг, вбок, еще шаг. Он двигался, как краб, чтобы встать удобнее и удобнее, исподтишка, рассматривать Марию.

Она почувствовала его взгляд и покраснелась щекой. Он ждал – она обернется. Не обернулась.

А жаль. «Поглядела бы, хоть чуток».

Тогда бы, смутно думал он, – а что тогда? Завязался бы узелок? Зачем? На что? Сто раз она глядела на него. Улыбалась ему. А все равно он для нее – стена. Бревно, полено, грязная лужа. И никакая улыбка не обманет.

А правда, кто тут кого обманывает?

...Словно яма распахнулась под ногами.

«Царь – нас обманывал. Ленин – нас обманывает? Охмуряет? Куда тянет за собой? Потонули в крови, а балакают о светлом будущем, о счастливом... где все счастьем – захлебнемся... Мы – красноармейцы – обманываем царей: ну, что охраняем их. Утешаем! Мол, не бойтесь! А что – не бойтесь-то?! Ведь все одно к яме ведет. К яме!»

И еще ударило, в бок, под дых: к яме ведут всех нас, идем – все мы.

«Так все одно все мы... там и будем... раньше ли, позже...»

Между бровей будто собралась тяжелая горячая тьма, величиной со спелую черную вишню. И давила, давила. А нас обманывают командиры, продолжал тяжело думать Лямин, да еще как надувают: отдают приказ, а мы и рады стараться; а они за спиной в это самое время...

Что – они за спиной, – он и сам бы не мог толком сказать; но понимал, что приказ – это для них, черных людей, а для господ большевиков – может, и не приказ вовсе.

Господа! Товарищи! Он еще вчера был царской армии солдат. И вот, вот ужас. Он – над своим царем – которому подчиняться должен, дрожа, от затылка до пят, от ресниц до мест срамных и потайных, – сейчас хозяин! Конвоир – уже хозяин. Ведет, сторожит, бдит, – а фигура на прицеле. На мушке. Не убежишь. Слюну без спросу не проглотить.

Яма, думал он потрясенно, яма, и делу конец.

Приказ отдадут тебя расстрелять – и в расход как миленький пойдешь.

Беяки Тобольск займут – и царь первый тебя уконокать велит.

Первый! Потому что ты над ним был, ты порушил порядок.

«Это не я! Не я! Это так сложилось! Так приключилось! Не мы так все придумали! Сладилось так!»

Мария утерла рот кружевным носовым платком, обеими руками, тонкими и сильными пальцами приподняла тарелку над столом и опять поставила на скатерть. Михаил слышал свое сопение. Так он шумно дышал, и нос заложило. Ему захотелось, чтобы она отломила своими быстрыми пальчиками кусок ситного и дала ему. Скорила, словно бы коню.

Он уже и морду вперед, глупо, сунул.

А яма под ногами все чернела, и он боялся шагнуть и свалиться в нее.

Зажмурился, головой помотал.

«Вконец я ополоумел! Дров пойти поколоть...»

На дворе солдаты пели громко, залиvisto:

*– Там вдали, в горах Карпатских,  
меж высоких узких скал  
пробирался ночью темной  
санитарный наш отряд!*

*Впереди была повозка,*

*на повозке – красный крест.  
Из повозки слышны стоны:  
«Боже, скоро ли конец?»*

Мария первой из-за стола встала. Вот сейчас обернула к нему лицо.

Нет, эта не обманет! Не будет обманывать! Никогда!

Лучше даст себя обмануть.

«А если я ей прикажу – под меня... ляжет?»

Яма под ногами исчезла. Вместо нее желто, тускло заблестели доски вымытого поутру пола. Баба Матвеева приходила, намыла; солдатка, щуплая, худая, рот большой, галчиный. С ней охрана и не баловала: такая щедедушная была, кошке на одну ночь и той маловато будет, скелетиком похрустеть.

*– «Погодите, потерпите», —  
отвечала им сестра,  
а сама едва живая,  
вся измучена, больна.*

*«Скоро мы на пункт приедем,  
накормлю вас, напою,  
перевязку всем поправлю  
и всем письма напишу!»*

Песня доносилась будто издалека, из снежных полей. Солнце головкой круглого сыра каталось в снятом молоке облаков, в набегающих с севера сизых голубиных тучах. Цесаревич тоже поглядел на Михаила.

«Черт, глаза как у иконы. Хоть Спасителя с мальчика малюй! Да богомазов тех постреляли, повзрывали. Яма... яма...»

В глазах Марии он видел жалость, и он перепутал ее с нежностью. В глазах Алексея горело презрение. Две ямы. Две темных ямы.

А Пашка? Кто она, где?

...его яма. И падает в нее.

Лямин развернулся, как на плацу, и, топя сапогами, выкатился из залы. Вон от пустых тарелок, от крошек ситного на скатерти. Пусть баба Матвеева скатерть в охапку соберет да крошки голубям на снег вытрясет.

\* \* \*

... Она ведь никакая не старуха. А все тут ее и видят, и зовут старухой; и в глаза и за глаза; и она, скорбно и дико взглядывая на себя в зеркало, тоже уже считает себя старухой – ах, какое слово, ста-ру-ха, как это по-русски звучит глухо, вполслуха... вполуха...

Будто мягкими лапами кошка идет по ковру.

Нет, это она сама в мягких носках, в мягких тапочках сидит и качается в кресле-качалке.

И все повторяет: старуха, старуха, ста... ру...

Муж подошел к ней, положил ей руку на плечо, и кресло-качалка прекратило колыхаться.

Как всегда, его голос сначала ожег, потом обласкал ее.

– Аликс, милая. Вот ты скажи мне.

Она подняла к нему лицо, и оно сразу помолодело, прояснилось. Зажглось изнутри.

– Что, мой родной?

Царь выпустил ее плечо, отошел от кресла, продел пальцы в пальцы, сжал ладони и хрустнул запястьями.

– Я вот все думаю. Думаю и думаю, голову ломаю. Мы ведь с тобой веруем в Бога. Так? Верую во Единого Бога Отца, Вседержителя...

Оба прочитали, крестясь, Символ веры – шепотом, быстро, отчетливо.

Слышали каждое священное слово друг друга.

– Чаю воскресения мертвых...

– И жизни будущего века. Аминь.

Опять перекрестились. Перекрестили друг друга глазами.

– И что? Что? – Она не могла скрыть нетерпение, любопытство. – Что ты мне хотел сказать.

Царь пододвинул табурет ближе к креслу-качалке, сел на табурет верхом, как на лошадь. Хотел улыбнуться, и не смог.

Вздыхнул и заговорил, заговорил быстро, сбиваясь, часто дыша, болезненно морщась, стремясь скорее, быстрее, а то будто опоздает куда-то, высказать, что мучило, жгло, давило.

– Вот Серафим Саровский. Батюшка наш Серафим. Преподобный... чудотворец. Отшельник. И пророк. Ты пророчество его помнишь, да, знаю, вижу, помнишь. И я все, все помню. Не в этом дело. И ту бумагу, что нам из шкатулки давали читать, ты же тоже помнишь. И я помню. Я не то хочу сказать. Я... знаешь.. долго думал, долго. Наконец вот тебе сказать решился. Мы веруем. И вся наша Россия, вместе с нами, веровала. В храмах – во всей нашей земле – молилась. Лбы все крестили. Посты соблюдали. Божий страх имели. Божий – страх! Это же самое главное. Нет Божьего страха – нет и человека. Нет человека – нет и... да, да... государства. Земли нашей нет без Божьего страха! Не может, не сможет она... выжить...

Царица слушала, боясь хоть слово упустить.

– И вот, милая, мы с тобой – веруем. Свято веруем! Молимся... каждодневно... и утром, и на ночь... и на службу нам разрешают ходить... иконы целуем... Вслух ты – детям – из Писания читаешь! Все, все делаем... как все русские люди всегда... Бог при нас... и что же?

– И что же? – неслышным шепотом повторила за мужем царица, надеясь, ужасаясь.

– Серафимушка... он предсказал будущее, да... и ты помнишь, ты же помнишь все, ну, что было в этом предсказании. Помнишь ведь?.. да?.. Он предсказал нам... смерть...

– Смерть, – шепотом повторила царица.

– Да, смерть! Но я... представь себе, я в это не поверил... не захотел поверить... Я... может, я святотатец!.. но я... не захотел поверить в нашу с тобой смерть, в смерть детей... Я верую в Бога, да... и ты веруешь... и дети наши веруют, да, да, мы так их воспитали, мы так их держали всегда, всегда, в страхе Божиим... И я... вот сейчас, во все последние дни, и сию минуту, спрашиваю себя: и тебя, сейчас и тебя... спрашиваю: где же теперь Бог над Россией?

Царица хотела повторить: «Где же теперь Бог над Россией?» – и не смогла: губы не смогли вымолвить это. Царь смог, а она – нет. И опустила голову, голова внезапно стала тяжелой, чугунный пучок волос давил книзу, из него выпадали чугунные шпильки, чугунные волосы развивались и плыли по чугунной шее, по старым плечам, нет, ее плечи еще не старые, они еще красивые, она еще может носить декольте!.. старуха... ста... ру...

Он взял ее руки в свои, крепко сжал, и она чуть не вскрикнула.

– Где же? – повторил царь, весь сморщившись, покривив лоб, губы, и зажмурился, будто не мог перенести прямого, отчаянного взгляда жены.

– Я не старуха! – шепотом крикнула она ему прямо в лицо.

Ее зрачки медленно становились широкими и наполняли черной стоячей водой всю серую светлую радужку.

Он испугался, побледнел.

– Что ты, милая?.. что, хорошая моя?.. Да нет, ну какая же ты старуха... вспомни, сколько тебе лет... и я тебя... я тебя...

Он беззвучно шептал: люблю, – а она уже судорогой выгибалась в его руках, и он уже крепко обнимал ее, и, сильный, еще крепкий, хоть и исхудал на скудных харчах, брал на руки, грубовато, по-солдатски, как тащит солдат военную добычу, и вынимал из качалки, и нес на кровать. И целовал лицо, мокрое, уже страшное.

– Прости... не буду больше... зачем спросил... зачем, дурак, затеял этот разговор...

Собирал губами слезы с ее щек.

Она рыдала и повторяла:

– Я не старуха... я не старуха... я... не...

Вытирал ей лицо кружевным краем простыни.

\* \* \*

Пашка то брала караул за Лямина, а ему шептала ласково: поспи чуток, отдохни получше, я за тебя постою, – то при всех обзывала его, громко и обидно, пентюхом и косорукиком, если он вдруг, стаскивая винтовочный ремень с плеча, на пол винтовку с грохотом ронял.

То жарко и тесно обхватывала сильными, жилистыми руками – где угодно: в коридоре, у сарая, в комнатенке своей, – то ударяла кулаком ему меж лопаток, чуть не пинала под зад, орала: вон пошел, прочь от меня, сволочь, гаденыш, пяль на других баб буркалы!

Комиссар Панкратов то повышал им жалованье, и тогда они весело шелестели длинными, как простыни, бумажками – на них мало что можно было приобрести, да все-таки кое-что можно было, и бежали в лавку за водкой, папиросами, свежим хлебом; то орал на них недуром, грозился нерадивых застрелить собственноручно, – и особо наглый боец выступал из строя и, глядя прямо орущему Панкратову в лицо, кричал наперерез ему: «Стреляй! Меня!»

Сашка Люкин то протягивал Мишке папироску, блестя зубами, подмигивая лихо, – а то вдруг оскаливался на него не хуже крысы, шипел: «Знацца с тобой не жалаю! Это ты, ты у меня из сапога керенку украл! Пройда!» И подсказывал ближе, и давал Лямину зуботычину.

Боец Мерзляков то обнимался с бойцом Андрусевичем, а после с бойцом Буржуем, пьяно горланили за раскупоренной четвертью: славное мо-о-о-оре, священный Байка-а-а-ал!.. – то тузили друг друга, беспощадно, в кровь, и никто не знал, отчего и зачем повздорили.

...так все мы, думал Лямин: все мы такие, это наша природа, то густо, то пусто, то ласка, то битье, вот оно и все наше житье, – может, это только русские люди такие сволочи, а может, это на всей земле людишки этак себя ведут.

«Ну, если на всей, тогда тут и калякать не об чем».

Слаб человек, а все же, когда приласкается, лучше и чище его нет; и, видимо, Бог тогда на миг просыпается в нем, а после опять уступает место черту, и так всегда, и так вечно, и ничего с этим и никогда ты уже не поделаешь.

\* \* \*

Цари гуляли в заснеженном саду, меж сугробов, а Лямин искоса смотрел на них.

Не мог побороть досаду. Она перекрывала глупую детскую радость от того, что – вот он сторожит царей, и ничего ему за это не будет.

«Будет, как же. Будет подачка от командира».

Все командуют ими. Теми, кто ниже. Кто – по земле стелется.

Навострил уши. Царь, под руку с женой, проходил мимо, снег громко скрипел под их валенками.

Говорили по-русски. Редкость для них. Все больше трещали меж собой на чужих языках.

- Анэт все понимает.
- Что?
- Что делать надо.
- Опасно все, милая.
- Богу будем молиться. Отец Алексей поддержит.
- Я... за детей страшусь.
- Как будто я – нет! И потом, муж Матрены...

Царь досадливо, широко, как косец, махнул рукой.

- Что крымец?
- Крымец – чудо! Он нам...

Ветер отнес слова.

Валенки заскрипели оглушительно, близко. Шли рядом. Будто не видя его, Михаила.

Он замер – как в тайге, когда заметишь медведя. Перед медведем – или стой как мертвый, или припусти без оглядки, карапайся буреломом, на дерево влезь, а убег.

- Он скоро уедет.
- Скатертью дорога.
- Ты шутишь!
- Я искренне, от сердца.
- Хорошо. Тогда я treasures...

Остановились. Николай – к нему спиной.

Лямин не шевелился.

Но царь почуял взгляд.

Не обернулся, нет. Как на охоте – осторожно – повел головой через недвижимое каменное плечо.

«Я для него – медведь. Понял, гад. Меня – боится».

Лицо царицы заслонила голова царя.

«Двуглавый орел. Гусь и гагара. Что с Россией выделали, хищники».

Царь шагнул вбок по снегу, солнце горело ясно, на царицу упала тень царя.

Лямин увидал ее лицо – напуганное, с мешками под подбородком, с обвислой кожей под свиными глазами, растерянное, – отжившее.

«Все, поняли. Сейчас перейдут на свою попугайскую речь».

И верно, по-ненашему залопотали.

Снег уже хорошо, мощно подтаивал. На мостовой в громадных лужах отражалось чистое, будто досиня отстиранное небо.

Михаил однажды внезапно, без стука и доклада, распахнул дверь гостиной залы – и увидел, как быстро царица спрятала что-то в мешок, лежащий на коленях. В грубую мешковину скользнуло стремительное, слепящее. Резануло по глазам.

«Бисер какой-нибудь. Вышивает? Ну не лезть же к ней, не шариться».

Бисер так ослепительно не блестит.

Царица заслонила руку от бьющего в окно могучего солнца.

– Простите, гражданка. Кушать-то не пора еще?

Старуха вскинула глаза, и в них он прочитал: «Сгинь, сердобольный».

А вежливые кривые губы презрительно вылепили, глухо и тупо, будто лошадь шла по мостовой в обвязанных холстиной копытах:

- Когда приблизится время, я вам там спать, косподин Лямин.
- Товарищ.
- Товарищ.

Вышел, нарочно громко стуча сапогами.

Били косо и отвесно лучи. Вздymались дикие, многогорбые сугробы. Чернел снег на взгорьях. Небо смеялось синью, белыми зубами облаков. Кони мчались по улице, из-под копыт летели ошметки мокрого снега, грязь, вода. Свист разрезал ветер острым тесаком! Отпилил один синий кусок, другой! Тройки мчались, бубенцы нагло гремели, кони скакали, пристяжные воротили морды от коренников.

– Мама! Мама! Кони!

Михаил стоял у двери. Винтовка – к ноге.

Он не расслышал, что сказала царица, наклонившись низко к сыну и судорожно, шершаво глядя его по встрепанной русой голове.

Донеслось только:

– ...спасение...

Папахи, красными лентами перевязанные. Кожаные куртки нараспашку. Бурки и бекешы. Потрепанные шинелишки. Кто в чем. Телеги, тройками запряженные, полные людской кипящей, горячей каши, неслись мимо дома и исчезали в синем дыму мартовской улицы, и таял звон, гасли пьяные крики.

Александра Федоровна грузно поднялась над прилипшим к окну сыном.

Ее рука – у него на затылке.

«Как покров. Защищает».

Лямин все понял, кто ворвался в город.

А вот она, видать, по-своему поняла.

\* \* \*

...и Пашка, и Мишка каждый вечер вместе со всеми ложились спать.

Бойцы – в большой комнате; Пашка – в каморке, рядом.

За день уставали. Но иногда, хоть и ломал, гнул сон, – уснуть не могли.

Что такое сон? А что такое время?

Лямин иной раз, когда не спалось, среди ночи подходил к большому, в резной раме, зеркалу в гостиной Дома Свободы. Глядел на себя, и себя – стеснялся. Волос еще рыжий у него, даже густо-алый, – чертовский волос, Пашка любит взять его за чуб и дергать, и трясти, и шептать: ах ты, рыжий, рыжий, бесстыжий.

Стоял в зеркале, глядел на себя, и вдруг нелепо и просто думал: а может, это не я?

Я, что это за слово такое, я? «Я, я, я», – повторял про себя Мишка, пялился в зеркало, оно старательно отражало всего его, от фуражки до носков сапог, но все же это был не он – не тот, на кого он так напряженно смотрел. Тот, другой, настоящий, жил где-то глубоко внутри него, и никакое зеркало не смогло бы его отразить.

У того, другого, было детство; было отрочество; был мир; была семья, и была любовь, и была большая река, он звал ее – Волга, Волженька. Вот он – настоящий Минька был; а этот? Кто такой этот?

Злой, с резко торчащими скулами, с тяжелыми глазами. Сам тяжелый, как чугун, пнет – убьет. И стрелять не надо.

Но и стреляет он тоже метко. Навострился за все эти стреляльные годы.

Зеркало внезапно смещало серебряные плоскости, сдвигало лучи. Фигура Мишки беспомощно падала вбок, в пустоту. Он вздергивал над головой руки, сам смеялся над собой. Отражение возвращалось, и это опять был другой человек, не он. Что толку в той же гимнастерке? В тех же портках? Из зеркала глядел он – тот, каким он, возможно, будет через десять, через двадцать лет. Седой и старый.

«Вот сказку сам себе говорю. И как ведь складно».

... и вдруг его осеняло: это не в зеркале смещались лучи – это смешивались и смешались времена, и он сам себе потерянно шептал: нет времени, времени-то нет, нет, – и искал глазами настенный царский календарь, чтобы удостовериться: есть время, все-таки есть, он сам себе лжет.

Календарь висел на стене, отрывной, маленький, смешной, светился в ночи квадратным фонарем, на желтой бумаге мотались черные надписи: «ВОСХОДЪ СОЛНЦА. ЗАХОДЪ СОЛНЦА. ЛУНА: ПОСЛЕДНЯЯ ЧЕТВЕРТЬ». Четверть, усмехался он, Луна будто водка. Время, оказывается, еще было. Плыло.

Он смотрел на сегодняшнее число на нищем листке календаря и думал: зачем оно, время? Чтобы не запутаться? Чтобы окончательно не потерять голову? И не сойти с ума?

«Нет времени, нет, нет. Времени – нет. Боже, прости меня, что ж я такое несу!»

Ночное зеркало терпеливо отражало, как он идет по гостиной зале, как отворяет дверь и выходит вон. Отражало его чуть сутулую, широкую спину. Потом отражало плотно закрытую, облитую лунным светом дверь.

... а Пашка спала рядом. За стеной.

Тонкая стенка, и тонкая грань сна.

... иногда они могли, тоскуя, видеть сны друг друга.

\* \* \*

Во снах только и приходили улицы села Ужур Енисейской губернии. Без радости, без чуда, одно чудо – приволье. Унылые тракты, загаженные куриными дворами. Полынная сизая степь, опрокинутый гигантский черпак оловянного неба над ней, прокаленного – летом, звенящего от морозной высоты – зимой. Двор Филатовых, бедняцкий, жалкий: плетеная стайка для пары кур, покосившийся заплот. За чьими-то заплотами кони ржут, коровы взмывают: там богато живут. По весне бабы волокут на речку Ужурку за собою тачки с бельем – полоскать, и колеса вязнут в непролазной грязи. Иная, кто помоложе да посильнее, играя под рубахой мышцами, на плече корзину с бельем несет.

Ох ты, да ведь это она сама, Пашка Филатова, и несет!

А Пашке – лет десять, не больше. Надрывается, а тащит.

Не баба она никакая, а просто шпанка сопливая! Но жилы крепкие, как веревки.

Не дотащит – мать в кровь изобьет.

Мать у Пашки не как у всех. Отец, Дмитрий Филатов, ее на северах, Марфу, подцепил, когда на царском флоте служил. С мачты сорвался – флаг прицеплял, – на палубу железную рухнул, думал, костей не соберут. В лазарете – починили. Да не до конца: одна рука так и не гнулась, неважнецки перелом зарос, голова потряхивалась, как у куклы ватной. Однако молод был, и на перед еще силен, и сивая поморка, молчаливая Марфа, легла под него на летнем, шуршащем и дышащем пьянью трав сеновале, в рыбацьем поселке под славным градом Архангельском. Да с северов они в Сибирь подались – рыбак из Дмитрия все одно не вышел бы, а про Сибирь чудеса рассказали. Поездом поехали, в самом дешевом вагоне; Филатов скалился: «В телячьем». Нарезали наделы, им в Ужуре ценной землички не досталось, жили, считай, на скотьем выгоне. Начинай с нуля хозяйство, морячок! А как начинать, коли и калека, и в мошне пусто?

Дом из лиственницы хотел возвести, а сложил сруб еловый. Жену стал бить. Оказалось вдобавок, что по-русски говорит она совсем худо: а он и не понимал, то ли финка она, то ли норвежка. Из-под сивых волосенок, если крепко ударит, со лба по щеке слишком яркая кровь текла.

Тряс за плечи: а ты кто такая?! Кто такая ты мне, кто такая?!

Пашка глядела из-за печи, жмурилась, как кот.

Однажды по весне печь развалилась: под половицами затлел уголек, в щель завалился; начался пожар. Кирпичи рассыпались, гремели по полу. Пашка истошно визжала. Мать и отец угрюмо собирали калечные кирпичи. Новую печь Филатов клал. Так же молча, мрачно. Изредка выходил на косое крыльцо, курил еще морскую, флотскую трубку. Люто глядел на яркий мартовский снег.

Пашку часто били: и за провинность, и просто так. После Пашки Марфа родила еще пятерых, и всех Господь прибрал. Кто задохнулся, в родах обкрученный пуповиной, кто в простудном жару отпылал, кто крысиного мора наелся. Филатов злобно радовался: все ртов меньше.

Жили впроголодь.

Пашка с мальчишками водилась, плавала в речке Ужурке, ныряла, шибко бегала. Отец вместе с ней ездил на озера; Пашка закидывала сети, как заправский рыбак. На север поехали с соседом, охотиться на волка. Пашка безбоязненно перевязывала пойманному зверю лапы, палку в пасть совала, трогала желтый зуб.

И на медведя пошли. И добыли зверя. Пашка видала, как отец пропорол черного, громадного медведя рогатиной. Боролся. Пашка холодно думала: «А ну как батьку задерет!» – и вся горячо, мелко дрожала. Темная кровь лилась по черной шерсти медведя, он ревел натужно, густо, отчаянно.

...так же, как тот медведь, будут потом вопить убиваемые ею на войне люди.

Над зелеными, бирюзовыми зимними реками, зимородками, и новогодние синие сугробы будут пятнаться красным. А она только будет перезаряжать винтовку и тихо сквернословить. И молчать. И стрелять.

...Пятнадцать ей сравнялось, когда ее вытолкнули замуж за бедняка Илью Бочарова. «Мы нищие, а у него лошадь и телега!» – веско сказал отец. Девки расплетали Пашке пшеничные, с белыми, будто седыми прядями, косы, пели заунывно, плачуще. Мыли ей ноги в тазу. Подол рубахи мок в ледяной воде. Мать подошла и погладила ее по голове, Пашка поежилась и сморщила губы, будто ее опять били.

Ее и продолжили бить: муж. В первую ночь избил. «За что?» – кричала Пашка. На будущее, хмыкал Бочаров, для острастки. «Баба кулак любит. Шелковее подстелится».

По теплу Бочаров увозил Пашку на Енисей, в Красноярск, и там они баржи разгружали. Давали скудную деньгу. Бочаров подкидывал деньги на ладони, они валились на землю, он орал Пашке: «Собирай! Дура! Чо тарачишься!» Пашка наклонялась и ловила прыгающие монеты, а муж толчком в спину ее на колени валил: старайся лучше!

В Красноярске тротуары деревянные. Да уж асфальтом принялись заливать. Супруги устроились в бригаду по укладке асфальта. У Бочарова руки насквозь прочернели. Пашка народом командовала, стала помощником десятника. Под ее началом и муж трудился. Бешенствовал от этого. Ходуном ходили тяжелые, каменные челюсти. Пашка ночи боялась. Молчала, когда бил. А бил все сильнее, чтобы – мучилась. «Скоро насмерть забьешь», – вышептала однажды, утирая ладонью со вспухших губ горячую юшку.

Синие звезды светили в косорылое окно. Белые. Красные.

Такая звезда и шепнула ей в оглохшее ночное ухо, под окровавленную белую прядь: беги, Пашка, пока цела.

Она заховала на груди, под пуховым платком, остатки жалованья, шла на ямскую станцию и молилась: только бы ямщику до города хватило. До какого – не знала. Уехать, и баста.

Хватило до города Иркутска, и еще оставалось.

Где тебя посадить, царишна, на вокзале, может, железном, а?.. – спрашивал ямщик, осаживая лошадей. Пашка кивала.

Выбралась из кошевы. Снег пицал под катанками. Страстно, восхищенно глядела на каменный вокзал: красив, что тебе царский дворец!

И прямо на вокзале, еще и ночлега сыскать не успела, подхватил ее разбитной и веселый тип. Улыбался, вежливо за локоть трогал. Пашка придирчиво шупала румяную рожу зрачками: добрый ли? ласковый ли? «Без мужика – пропаду», – шептала сама себе беззвучно, обреченно холодными губами, идя за ним волчицей, след в след.

А мужик даже под локоток не брал. Вроде как берег.

Улицы чужого города мелькали и вспыхивали, дома бредово наклонялись, будто бы Пашка выпила вина. Резные наличники искрились инистыми деревянными кружевами. От иных домов хотелось откусить, как от пряника. Ранняя зима обнимала крепким злым морозом. Явились в темный смрадный подвал. За столами кучно сидели люди, люди. Затылки их и руки освещались белой слепой лампой под грязным марлевым абажуром. По столам бегали, резвились карты. Мелькали масти, мелочевка, двойки и тройки, дамы, валеты, тузы. Людские руки ошарашенно ловили картонную нечисть. Пашкин вокзальный кавалер уселся за стол на венский, кокетливо гнутый стул, под ним мышино пискнувший, и стало ясно: он здесь свой-родной. А ведь я даже не знаю, как звать его, подумала Пашка и робко коснулась ладонью плеча мужчины под добротным шевиотовым пиджаком.

Она стояла сзади него, за венским стулом.

Пиджак распахнулся, Пашка изумленно увидела под ним жилет, на груди – брегет на золотой цепочке.

– Вас как зовут?

– Это неважно, – руки его тасовали и разбрасывали карты по столу, попугайский нос потным крючком клевал табачный синий дым, рот нагло смеялся, – тебе-то зачем? ты ж мне на одну ночь! Утром разбежимся, и прости-прощай!

Пашка повернулась и пошла вон.

Обернулся он. Швырнул ей в спину:

– Гриха я! Гриха!

Остановилась. Лбом прижалась к закрытой, обитой изодранной черной кожей, пахнущей табаком и мочой двери. Тело скрипнуло вроде стула, поворачивая кости, ребра, бедра к новой, опасной жизни.

Она осталась.

...Той ночью Гриха Бом – так он звал себя – выиграл много, еле рассовал змеино шуршащие деньги по карманам. В подворотне, уже под утро, на него напали. Он отбивался ретиво. Бил точно, умело, страшно. Пашка следила, как ходят гирьки-кулаки. Он уложил двоих, третий убежал. В синяках, в крови, вытирая ладонью лоб и щеки, он довольно усмехнулся:

– Не пришлось стрелять. Как я их.

Пашка молчала и смекала: стрелять, значит, оружие при себе.

Гриха вытащил из кармана пистолет и поиграл им перед носом Пашки.

– Видал миндал?

Стрельнул вверх. В ночи раскатился сухой и резкий звук. Погас в оклеенных игрушечным ином ветвях.

Пашка протянула руку.

– Дай мне.

– Тебе?

Округлил глаза, но пистолет передал. Пашка подняла оружие, прищурилась.

– Видишь то гнездо? Левее?

– Вижу. Ха-ха!

«Смеешься, гад, как бы не заплакал».

Выстрелила. Черный клубок гнезда, осыпая иней, падал медленно, важно. Застрял в ветвях возле самой земли.

Гриха выхватил у женщины пистолет. Блестел зубами.

– Ишь, стрелялка! Наша? Своя?

– Не ваша. И ничья. С отцом охотилась.

Мужчина крепко взял женщину под локоть. Локоть к боку прижал.

– Охотница, однако. Нам такие нужны.

Пошел быстро, крупно шагая, и она не отставала.

...Гриха Бом грабил, играл и убивал. Жили в комнатенке, в каменном двухэтажном доме напротив Крестовоздвиженского храма. Приходили люди: русские, казаки, гураны, китайцы. Однажды поздно вечером, на ночь глядя, появилось человек десять – все раскосые, потные, смуглые, с черными и рыжими тощенькими бородами. Будто вехотки к подбородкам приклеены. Гриха раскосых рассадил, долго с ними не толковал; раз, два и все решено.

– Прасковья! Чаю нам. Нет! Лучше водки.

Пашка вытащила из буфета прозрачную, зеленого, как ангарский лед, стекла четверть. Разлила по стаканам прозрачную пьяную белую кровь.

– Закусить чем? Селедка есть, картошка холодная.

– Тащи, мать.

«Мать, мать, а детей нет».

Раскосые выпили, съели всю селедку и картошку, разломали в крошки остатки ситного. Ушли.

– Кто это?

– Хунхузы.

– На что они тебе?

– Не твоего ума дело.

Пашка взъярилась.

– Я с тобой живу, и не моего!

От крика надвое треснуло стекло закопченной, как свиной окорок, керосиновой лампы.

Гриха, тяжело качнувшись, вылез из-за стола. Пашку облапил.

– Люблю, когда орешь. Выгрывает во мне все. Волчица! Не вопи, будто рожаясь. На дело с ними иду. Хунхузы, – замасленно улыбнулся и тоже вроде раскосый сам стал, – братья, маньчжуры. Надежные. Не подведут.

Пашка села на кровать, плакала и утиралась занавеской.

...Изловили их: и Гриху, и хунхузов. Они успели перебить – застрелить и зарезать – всех жителей купеческого дома на Крестовоздвиженской улице; да ограбить не успели – мимо тащила старуха с ведром мороженых омулей, увидела огни в ночном доме, услышала истошные крики – и так, с ведром омулей, задыхаясь, еле волоча ноги, и притопала к будке, где дремал городской. Толстяк, оглушительно свистя, побежал к дому, пашка била ему по ногам; он вытащил из кобуры револьвер и стрелял в воздух. Старуха присела возле омулей и ошалело гладила мертвых рыб по головам, по выпученным глазам.

Мертвыми омулями по комнатам валялись тела – в кроватях, на полу. Семьи иркутского купца Горенко из двенадцати человек больше не было. На подмогу городскому уже ехали в авто урядники. Свист перебудил полгорода. Гриху и хунхузов поймали в дверях; одного хунхуза, что укрылся, скорчившись, за купеческой повозкой, за выгибом мощного колеса, застрелили во дворе. Отстреливались, да повязали быстро.

На суде изворотливому Грихе удалось доказать: зачинщики – хунхузы, он тут сбоку припеку. Хунхузов – кого к стенке, кого в тюрьму, кого на каторгу; а Гриху – всего лишь на поселение в Якутскую губернию.

...Пашка впервые тряслась в поезде. Оглядывалась беспомощной мышью по сторонам. Стены качались. В окне мимо глаз летели длинные мертвые омули стальных рельсов. К ее широкому, круглому и жесткому, как неспелое яблоко, плечу привалился Бом, дремал. Через бельмо грязного стекла виделись станции, полустанки, разъезды.

Поезд, лязгнув всеми железными костями, встал; они с Грихой пересели в широкие сани, лошадь потрясла заиндевелой мордой, тронула, за ними в кошеве ехал конвой. Платок с кистями, яркий, белый с крупными розами, плохо согревал: мороз лютовал, в черно-синих небесах злорадно играли сполохи, скрещивали световые клинки.

Чернобревенная, низкая изба, словно перевернутый, брошенный на снег чугунок. Вошли, промерзшие, снег отряхнули; Пашка, кряхтя, стащила с Грихи овчинный тулуп, вывернула его путаными кудрями наружу, прижала к лицу и заревела в вонючий мех.

– Что мы тут делать будем!

– Ничего. Погибать.

Мужчина сел на лавку, Пашка встала на колени и стянула с него валенки.

Часы с боем, на кухонном столе в ряд скалки лежат. Теплый еще дух, недавно люди отсюда съехали. Пашка отыскивала в шкафу мешочек с мукой. Развязала завязку. В муке, веселясь, ползали черви. Она, жмурясь от отвращения, просеяла муку через сито, вытряхнула с крыльца личинки, замесила тесто на воде. Гриха языком нащупал во рту катышек, плюнул на пол.

Топили долго. Выставшая изба прогревалась тяжело, доски трещали. Увалились в кровать, высокую, как вмержшая в речной лед пристань. Дрожали. Прижимались крепко. Холодными граблями рук Гриха когтил Пашкину рубаху. Пока возился, сердце умерло. Плюнул холодной слюной ей в лицо. Она вытерла щеку о подушку, пахнущую куриным пометом.

– Что плюешься-то. Заплевался.

– Принеси водки. Она в кармане тулупа.

Пашка послушно сползла с кровати, ежилась, сама зубами вырвала затычку. Бом глотнул и ей протянул:

– Согрейся.

Она закрыла ладонью рот и головой замотала.

Легла. Гриха тяжело, медленно и хрипло дышал. Огненно, крепостью спирта, стусился ночной воздух. Бом засмеялся страшно, хрипато, засопел. Пашка не поняла, не помнила, как он ее ударил в первый раз. Кулак всунулся под ребра, потом расплющил грудь. Пашка охнула. Бом бил ее под одеялом. Одеяло стало мешать. Лягнул ногой, скинул на пол. Теперь у кулака появился размах. Тупые удары раздавались, будто били в старый ковер: бух, бух. Тело у Пашки жесткое, живот поджарый, нерожавший. Грудь круто встает, два белых снежных яра. Гриха лупил по груди, по животу, по лицу хотел – Пашка лицо в подушку прятала.

Ногой сбросил женщину на пол. Сам соскочил с кровати и охаживал ногами.

Пашка, катаясь по полу, смутно думала: хорошо, ноги его голые, без сапог, сапогами бы – убил.

Бил долго. Утомился. Задохнулся. Вспотел.

Пашка лежала на холодном полу добытым в тайге, убитым зверем.

Звезды острыми спицами прокалывали плотную, бело-синюю, хвойную шерсть мертвой ночи.

...как шла через тайгу, как на телегах подвозили, как побиралась по староверским селам, клянча хоть корочку, хоть кроху, – не помнила. Память дымом заволокло.

Побои болели. Медленно заживали. Она шла, в отсырелых тяжелых катанках, в городском модном пальтеце, в чужой казачьей папахе – стащила с плетня; синяки на ее лице издали было видать: разноцветные, как нефтяные, на лужах, пятна.

Брела и повторяла: как хорошо, Господи, вот ты нам эту чертову войну послал, на испытание, Господи, но зато я поеду бить наших врагов, Господи, Ты же видишь, я смогу, я хочу.

То брела, то везли, то опять тащилась нога за ногу. Ночевала где придется.

Счастье, что не убили шальные люди.

Так добралась до Томска.

... На призывном пункте ей в лицо долго глядел сивый, с залысинами, худощавый офицер.

– Что глядите? Я вам что, икона?

Офицер слушал, как резкий, пронзительный голос Пашки гаснет в углах пустой, плохо побеленной комнаты.

– А вы что смотрите?

– Вы как сивый мерин.

Обидные слова вырвались сами и весело разлетелись по комнатенке.

Офицер тепло, необидно рассмеялся.

– Лучше сказать: старый мерин. – Искоса опять глянул Пашке – прямо в глаза. – Зачем явились?

Оглядывал ее потертые катанки, грязные полы пальто.

Пашка подобрала под ребра и без того тощий живот.

– Запишите рядовым бойцом! В ополченцы иду!

Офицер разглядывал Пашкины большие, как у мужика, сложенные на животе руки.

– Я запишу вас... – Медлил. Пашка ждала. – Сестрой милосердия, в Красный Крест.

Офицер быстро поднял глаза от Пашкиного живота опять к ее глазам, ко лбу.

Ее лицо все было красно; казалось, вот-вот кожа лопнет и кровь брызнет, так разгневалась.

– Нет!

Офицер пригладил сивые патлы.

– Что вы так кричите...

– Только на фронт! Я – на фронт!

Офицер встал, отодвинул ногой стул, он противно проскрежетал ножками по полу, и подошел к Пашке.

– Но ты же девка, – произнес тихо, зло и отчетливо.

Теперь Пашка сама заглянула офицеру глубоко в серые, лошадиные глаза.

– Я не хочу больше быть девкой. Я – солдат.

Развернулась, как в строю; офицер изумленно следил, как она выходит и хлопает дверью.

... Стояла у крыльца призывного пункта. Свечерело. Дождалась, пока на крыльцо не вышел офицер, что говорил с ней в пустой белой комнате.

Офицер закурил трубку, обернулся и увидел Пашку.

Она грела рукавицей красный замерзший нос.

– Ты что тут? – спросил сквозь дым, прищурясь.

– Я-то? А червонец у вас занять вот хочу.

– Червонец? Золотой?

Усмехался. И она тоже, вроде как в поддержку ему, усмехнулась.

Над ним? Над собой?

– А хоть бы и рублями бумажными. Разницы нету.

Офицер дымил, пыхал трубкой. На его сивой голове кособочилась кудрявая черная папаха. Он опять глядел Пашке в лицо, будто икону глазами щупал, ласкал.

– Мы с тобой что, казаки? – На ее белую грязную папаху кивнул. – Давай меняться? Я твою хоть почищу.

Пашка надвинула папаху на брови. Мех сполз до самых ресниц.

– Я все это, – ударила себя ладонями по полам пальто, потом цапнула ногтями папаху, – сменяю только на шинель.

– Да солдаты тебя... засмеют! А верней всего, съедят. Как овцу, зажарят. Зачем денег просишь?

– Телеграмму хочу отбить на почтампе.

– Кому?

– Царю, – быстро, как заученный урок, выдохнула.

Ждала – офицер расхохочется, а то и рассвирепеет. Глядела, как долго он рылся в карманах: сперва в одном, потом в другом, за подкладкой шинели. Раскрыл кулак. На его ладони, в шрамах, мозолях и табачной несмываемой желтизне, лежал желтый кругляш. Золотой червонец.

– Отбей, – просто сказал офицер.

Пашка стояла оторопело. Офицер всунул ей червонец в руку, пошел, остановился, поглядел на нее вполоборота, махнул рукой, опять пошел, медленно ставя на кислый грязный снег ноги, потом все быстрее и быстрее.

... Читала, в который уже раз, и телеграфная длинная бумага дрожала в руках, и буквы вылавливала зрачками, как черных, вразброд плывущих под прозрачной бегущей водою, мелких рыб.

«ВЫСОЧАЙШЕЕ НАШЕ РАЗРЕШЕНИЕ ДАЕМ ГОСПОЖЕ БОЧАРОВОЙ В ТОМ ЗПТ ЧТО ОНА МОЖЕТ СРАЖАТЬСЯ НА РУССКО-ГЕРМАНСКОМ ФРОНТЕ КАК РЯДОВОЙ РУССКОЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ АРМИИ ТЧК С ПОДЛИННЫМ ВЕРНО ТЧК ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ НИКОЛАЙ ВТОРОЙ».

Отнесла телеграмму в батальонный штаб. Того офицера, сивого, с залысинами, в штабе не было; за столом сидел другой, до того толстый, что табурет под ним тихо трещал.

– Что у вас?

Протянул руку.

– Высочайшее разрешение записаться в батальон.

– Что за разрешенье?

Пока читал – брови взлезали все выше, выше на складчатый, жирный лоб.

А глаза добро светились, улыбочиво, как у доброй собаки.

С натугой встал, а табурет упал.

– Зачисляю! Рядовой... как там тебя? Бочарова! – Повернулся к двери. Часовой выгнул спину и выпятил грудь. – Федор! Выдать девице... бабе... гхм, госпоже... Бочаровой солдатскую форму! Всю чтоб, от и до!

– Слушаюсь, вашество!

– И ополченский крест, – громко сказала Пашка.

– И фуражку, и ополченский крест! – еще громче выкрикнул толстый офицер.

Пашка украдкой понюхала ладонь. Она еще пахла почтовым сургучом и соленым, железным ароматом долго сжимаемого в кулаке золотого червонца с гордым профилем царя Николая, – царь то римским воином на монете гляделся, то сытым, довольным сонным котом.

... волосы падали на пол. Зеркало перед нею не мерцало, и она не могла себя видеть, как она странно преображалась. Из девки получался парень, да еще какой лихой, залихватский. Волосы падали, расползались живыми червями вокруг голых ступней, – а там, сзади, за табуретом, за спиной, укрытой казенной простыней, ждали высокие, по колено, солдатские сапоги. Ножницы брякали и скрипели, и волосы падали, нежно и бесслышно, тихо лаская воздух, и это умирало прошлое.

Потом над затылком зажужжала машинка. Она холодила уже лысое темя, скрежетала по голому затылку, еще что-то незримое счищала, уничтожала, – добивала. Голове становилось холодно. Голова звенела, как ледяная. Как стеклянная чаша, рождественский господский хрусталь.

– Вставай!

Встала. Простыню с нее сдернули. Отрясли состриженные клочья волос на пол. По своим жалким нищим волосам она шла к сапогам, к сложенным аккуратно штанам, гимнастерке, шинели. Расстегивала юбку; юбка сползала на пол и накрывала волосы. Расстегивала и сдирала

с себя белую холщовую сорочку. Влезала в штаны. Велики были; и утягивала ремень, и ей уже протыкали шилом новую дыру в плотной, добротной коже.

Втискивала руки в рукава гимнастерки, и понимала: эта болотная суровая шкура – на много дней, месяцев, лет; а может, и навечно.

Толкала ноги в сапоги. Сапоги на лытках болтались. Уже несли портянки, и усаживали ее опять на табурет, и учили, как ногу портянкой обмотать правильно, чтобы при ходьбе кожа не сбилась в кровь.

Несли фуражку; без кокарды, правда, но с медным ополченским крестом.

На кресте было написано, на всех четырех сторонах, и хорошо, издали различалось: ЗА, ВЕРУ, ЦАРЯ, ОТЕЧЕСТВО.

К поясу прикрепляла, сопя громко, два подсумка, слева над животом и справа.

Внесли белую, как ее давешняя грязная, только чистую папаху, и Пашка в растерянности запихала ее за пазуху.

В руку ей, как слепой, втиснули винтовку.

Выпрямилась, солдат Бочарова. Гляделась в других, чужих людей, как в зеркало.

В их глазах видела – себя; и живые зеркала одобряли, хорошо отражали ее, новую.

Подняла глаза и поглядела наверх, на штык: прямой, не покривленный, а кто-то уж эту винтовкой воевал, стрелял из нее и штыком колот, а может, и нет, вроде новехонькая она, неиспользованная.

– Солдат Бочарова! Кру-гом!

Она повернулась четко, резко, будто век шагала на плацу.

...Та первая ночь в казарме помнилась недолго. Она постаралась ее забыть, и у нее получилось.

Ночь, и жесткая койка, и чужие руки лезут, чужие колени бьют под солнечное сплетение. Кто и кому сказал, что она баба? Все оружие – два подсумка, котелок, скатанная шинель, сапоги. Она пожалела, что не стащила, не уволокла с собой Грихин хунхузский кривой нож. Чужие тела лезли и лезли, и заслоняли лунный молочный свет в зарешеченном окне, и молоко Луны к утру скисало, а ночной бой все шел: лезли – она была кулаком, лезли – она была жестким подсумком, попадая то в подглазье, то по зубам, и тогда нападающий выл и костерил ее последними, похабными словами. Слова эти она знала наизусть. Лезли – и в чужой лоб, в чужое лицо она тыкала сапогом, еще не успевшим изгрязниться, лезли – размахнувшись, крепко была котелком, и выпуклым днищем его, и краем; лезли – била локтем под дых, била ногой – и носком, и пяткой – в твердую грудную кость, в ребра, в жесткие вздутые мышцы рук и железные животы. Била, и мысль мелькала, сладкая и злорадная: раньше – меня били, а теперь – я! Она сама не ожидала в себе такой силы, и откуда сила взялась, и не оскудевала, только свинцом наливались кулаки. А она ударов не чувала; сама себе казалась мешком с беззвучным, сырым речным песком; все в песке таяло, и все от него отталкивалось.

По казарме гуляли короткие вскрики, как сполохи за окном. Изредка выстреливал жесткий, медный мат. А так – все происходило молча, и молча сопели, и молча били, и молча отползали.

Дверь отлетела. Чуть не сорвалась с петель. В темную спальню хлынул коридорный свет. На пороге стоял унтер-офицер Черевичын. Проорал, разевая пасть шире охотничьей, в гоне, собаки:

– Отставить драку! На гауптвахту все хотите?! Скопом – под расстрел?!

Солдаты бросались на койки. Заползали под одеяла.

Кто лежал поверх одеял, вытянув худые, в кальсонах, еще живые, а будто мертвые, ноги.

Пашка, мрачно горбясь, сидела на койке, затолкав кулаки под мышки.

Кулаки ее были разбиты в кровавую, страшную кашу. На лице цвели кровоподтеки.

– Рядовой Бочарова!

– Я!

Встала, и даже не шаталась. Стояла, широко расставив босые ноги, в нижнем мужском белье.

– Что творите тут?!

Она крикнула лишь одно слово унтер-офицеру.

– Отбилась!

В звенящей тишине все слышали, как отчетливо выговаривает Черевичин каждый слог.

– Я ничего! Не скажу начальству! Завтра занятия, как обычно! Поняли?! Спать!

Дверь закрыл неплотно. Из-под двери сочился, полз по полу золотой червяк раздавленного света.

Пашка отшагнула назад и повалилась на койку. Лежала, глядела в потолок.

Слышала, слушала, как вокруг нее к потолку поднимаются чужие шепоты, хрипы, ворчанья. Она зачем... чуть что... будет нам... бабы, што ль, не видал... кулак тяжелый... боец?.. она боец?.. ты боец?.. ни разу больше... подлые вы... а ты лучше... ее теперь... завтра рано подымут... как обычно... разоспишься на печке у мамки... рожу расквасила... а не просят, не лезь... кто бы знал... соломы бы... подстелил... тихо... храпит уже?..

Пашка и правда уже спала, не накрываясь; разбросав руки; и одна рука тяжело свешивалась с кровати, и кровь наполняла кончики разбитых пальцев, туго и больно стучала в них, прося выхода. Из-под губы на подушку сочилась сукровица. Солдат, что первым лапал ее, поправил под ее головой подушку. Потом стащил со своей койки верблюжье казарменное тощее одеяло и осторожно закрыл ее, эту полоумную, сильную как медведица, странную бабу.

...время проехало черным паровозом, и уже рота защищала ее, будто бы она была малый цыпленок или пушистый гусенок, и не давала ей делать того, чего бабе нельзя; и дивилась на ее владение винтовкой, на то, как она ловко и зло, что тебе хороший мужик, брала препятствия; как не боялась стрелять; как не боялась глядеть тебе в лицо.

Она всегда глядела солдатам прямо в лицо. Такая уж у нее была привычка.

Битая, она хорошо и крепко била. Гнутая, она ни перед кем не гнулась.

Ее в роте так и звали: наша Пашка! – и больше никак; она сама так поставила дело; а зима шла, то ковыляла, то бежала, рассыпая пули звезд, по синим жестяным сугробам в серых, величиной с солдатские сапоги, катанках, и обреченно дымили пуще самокруток над инистыми крышами краснокирпичные трубы, и Пашка смотрела бешеной зиме в спину и думала: беги, зима, беги, а вот твой февраль.

И февраль принес ей и всем другим приказ: пятнадцатый резервный батальон отправить на фронт.

...офицеры говорили ей мягко, настойчиво: рядовой Бочарова, езжайте вместе с нами, в штабном вагоне! там вам будет удобно! как у Христа за пазухой, поедете! – но она трясла головой, и можно было подумать: она или глухая, или припадочная.

До самого Молодечно Пашка ехала вместе со всеми, со всеми солдатами своей родной роты, в теплушке, и вместе со всеми мерзла, и вместе со всеми ела, и вместе со всеми пила, и вместе со всеми ругалась и хохотала, и вместе со всеми молилась.

И только глухою ночью, под жесткий стук неотвратимых колес, подложив под жесткую скулу жесткую ладонь, плакала она – одна.

\* \* \*

...И Михаилу тоже снились сны.

Жизнь снилась; а вдруг она и вправду вся – до капли, до куриной косточки – приснилась?

...Сизые леса сбегали с гор вниз, к слоистой, светящейся воде. У берега вода прозрачная, чуть желтоватая, как спитой чай. Волга. Волженька.

«Волженька», – шептал маленький Минька, лежа на животе на песке, перебирая камни и ракушки. Рядом валялся рыбий скелет. Мертвая рыба морда смеялась. Минька трогал длинные белые иглы призрачных, подводных ребер.

Его никто в Новом Буяне и не кликал – Минька; все звали – Рыжий.

Рыжий, айда на реку! Рыжий, ты зачем у отца долото стащил?! Рыжий, эй, признавайся, – ты часовенку поджег?!

...Никто на селе не знал, как на самом деле Мишка родился. Баба Лямина мучилась четверо суток. Весь язык себе искусила, все пальцы. Схватки все нагнетали внутри боль, а лонные кости не расходились. На пятые сутки Ефим Лямин быстро, нервно перекрестился на икону Пантелеймона целителя, выхватил из ножен саблю, с которой воевал в героических войсках генерала Скобелева под Шипкой, подошел к жениному ложу, – там возвышался огромный, шевелящийся, стонущий женский сугроб. Рядом навтыжку стояла старшая дочь, Софья, наготове держала толстую швейную иголку со вздетой суровой ниткой.

Старая мать Ефима опустила на колени перед роженицей. Бормотала молитвы и постоянно, мелко крестила блестящее, страшное, потное лицо снохи.

Молния сабли ударила между людских лиц. Из разреза обильно потекла слишком яркая кровь. Простыня и перина мгновенно пропитались алым. Бабы потроха шевелились, мерцали, кровили, вспыхивали, и в этом шевелении выпукло просвечивала головка младенца и согнутые коленки. Ребенок лежал в утробе головою вверх, к желудку матери, ножками – к выходу из тьмы. Лезвие чуть задело нежную кожицу.

Все кровоточило, плыло, билось, уплывало. Ефим чуял – разум теряет. Бросил саблю, она брякнулась о половицу и зашибла хвост толстому рыжему коту. Баба закатила белки. Свекровь уже вынимала руками, темными и корявыми, как корни старого степного осокоря, из кровавой ямы матеиноного живота крошечное тельце, и шевелились, вздрагивая и сгибаясь, червяки-ноги, ящерицы-руки. Софья портновскими громадными ножницами обрезала пуповину.

Ефим закричал дико:

– Шей! Живо!

Софья втыкала в окровавленную, скользкую кожу иглу, никак не могла проткнуть, редела, рот кусала.

Ефим стоял, обхватив руками лысеющую голову. Красный червячок на коленях у старухи корчился. Старая мать сидела на полу, расставив ноги, ниткой заматывала ало-лиловый кровоточащий отросток. Дочь тянула вверх нить, игла дырявила родную плоть. Рана закрывалась жутким, бугристым швом. Софья затянула узел и перегрызла нить. Шарахнулась к буфету. Вытащила четверть. Еле подняла стеклянную зеленую тяжесть: на дне, сонно, бредово отсвечивая лунным зеркалом, плескался спирт.

Ефим подставил горсть. Софья плеснула. Ефим склонился, пыхтя, над улетевшей далеко женой, разжал руки. Спирт вылился на свежий шов, обжигая дикую рану, смывая кровь жестоким прозрачным огнем. Родильница не двинулась.

Так и лежала, запрокинув голову, и подушка медленно, бесконечно валилась на пол, все валилась и валилась.

...Ефим Михайлыч Лямин отменно избы рубил. Срубы его стояли намертво, несгибаемо, как солдаты на взятой высоте, – не расстрелять, не растащить по бревну, только сжечь. Огонь, он все возьмет. Ефим учил мальчишку Миньку плотницкому делу. «И сам Христос-от, – дул, плевал на руки, на красные вспухшие горошины мозолей, – плотником был, смекай!» Минька вертел топор в руке, блеск лезвия резко бил по глазам, Минька шурился, точь-в-точь повторял движенья батьки.

В десять Мишкиных лет они оба, отец и сын, от греха, чтобы поп не подал в суд за сожженную ребятей часовню, наново срубили ее из пахучей, нежной липы, и Мишка сам залезал на купол, обхватив его ногами, как бока быка, укрепляя золоченый стальной крест.

Ефим после смерти жены и матери поднимал двоих детей один. К нему приводили невест – он отворачивался, будто от поганой кучи, выходил на крыльцо, раскуривал трубку, сердито пыхал ею. Мишка возникал за спиной тенью. Солнце садилось за Волгу. Отец любил глядеть на закаты и Мишку к этому созерцанью приохотил.

Так стояли оба, Мишка дышал отцовым табаком, раздувал ноздри. Мишке однажды скупо рассказали, как отец извлек его на свет Божий, и он, ложась спать, осторожно щупал странный узкий белый шрам, стрелой летящий через грудь – по ребрам – к паху: след отцовой сабли.

Саблю ту батька держал в сундуке, а сундук запирали на ключ, а ключ носил на черном гайтане вместе с нательным тяжелым крестом, медной птичьей лапой прожигавшим когда-то бравую, нынче впалую мужицкую грудь.

...Пошевеливались жуками и стрекозами, нежно вздрагивали над Волгой звезды. Сама Волга чудилась чудовищной розовой рыбой, хвост терялся в дальнем мареве, темная башка с радужными щеками и выпученным лунным глазом вставала торчмя, плыла в небеса. На том берегу рыбаки закидывали сети, жгли костры. Красные угли кострищ тлели внутри ночной печи, белая полоса кварцевого песка горела во тьме серебряной царской шашкой. Распорядок мира был незыблем; его мог расшевелить лишь грозовой ветер. Мишка нюхал воздух. Ясное небо изливало полночную ласку, но Мишка, как зверь, чуял сырой холодный сиверко из-за гребня Жигулей. Гроза шла с востока. Ворочалась черным медведем в надоевшей за зиму берлоге.

Часы сложились в минуты, минуты сжались, как пальцы в кулак. Время сошлось в одну точку, и из нее ударила первая ярко-розовая молния. Она отвесно, саблей, протыкающей врага, вошла в черную зеркальную поверхность реки. Гроыхнуло над головой, и Мишка со страху присел: небо раскололось, и череп его раскололся. Тучи вили черную бешеную шерсть. Молнии уже метались, били куда хотели – и в воду, и по берегам. На острове посередине Волги загорелся огромный осокорь. Факелом пылал. Огонь отражался в воде, и вода колыхалась, как геенна огненная, – черная, адская, золотая. Кто-то страшно далеко, как с того света, кричал с того берега – то ли на помощь, то ли окликал опрометчиво уплывшего на лодке наперерез грозе друга. Гром перекатывал булыжники над крышей ламинской избы, а они оба, отец и сын, стояли под навесом крыльца, глядели, как косо, сплошной серебряной стеной, хлещет ливень, заслоняя звезды, берега и деревья. Вода в Волге пучилась и вздувалась.

– Не завидую, – бросил Мишка, – рыбакам сейчас... Муторно им...

Ефим выколотил трубку о перила крыльца и омочил руку в потоках ливня.

– Вот так и мы, – непонятно сказал, мрачно, – вот так и мы же...

Мишка не стал допытываться. Вдруг хрипло, пьяно, юно захохотал. Веселье же! Хляби небесные отворились!

– Вот земляца хлебнет! Возжаждала! Пить же хочет!

Отец молчал, тискал черную, вишневого дерева трубку в желтых кривых пальцах.

...После грозы, на самом рассвете, отец и сын направились к берегу. Ноги по шиколотку вязли в сыром сером песке.

– Хорошо, лодку не отвязало. В такую бурю уплыла бы, что твоя щука, и перевернулась. Лады новую. Расходы.

Мишка сел на весла. Греб упорно, размашисто. Ефим разматывал сети. Пахло гнилыми водорослями, в заводи колыхались на алеющей утренней воде золотые детские кулачки кувшинок. Сквозь чистые водяные слои различалось дно с крупными, скошенными будто рубилом камнями.

– Вон, вон ходит, – шепнул Мишка, вглядываясь. – Резвая. Не уйдешь.  
Взялся за другой конец сети; закинули. Сеть уходила в воду медленно, плавно.  
– Бать, это сазаны, ей-богу!

Длинная тень промелькнула и ушла за корму.

– Не божись, Минька. Осетр это. Ну, давай же...

Шевелились беззвучно губы: молился рыбацкой молитвой.

Великанская рыба опять прошла мимо лодки. Спокойная утренняя вода качнулась. Сеть натянулась. Осетр стал рваться, бороться. Лодка кренилась, черпала бортом уже алую, кровавую воду. Тянули вместе. Мишка вцепился в сеть клещом. Мышцы напрягались сладко, тревожно. Рыба пыталась уйти во что бы то ни стало. Мощный осетр волок лодку за собой, как на буксире. Ефим матерился. Из воды показалась обмотанная сетью остроугольная серая морда, костяные торчки на загривке. Дугой выгнулась спина в костяных зубьях. Хвост расплескивал воду. Осетр, бешенствуя, перевернулся брюхом вверх, и Мишка увидал усы на морде и жалкий, ребячий, печально округленный рот.

На миг стало жалко живое. «Он же умирает! Умирает, как все мы, люди и звери!» Отец не дал взорваться ненужной жалости. Рыбалка – это работа, и тяжелая, как любой мужицкий труд. Потянуть сеть, намотать на руку, выпростать рыбу, подвести черпак. Делать все надо быстро, сноровисто, иначе победишь не ты, а тебя. Это – война.

«Война, все на свете война».

Мысли плыли рыбами, а руки делали дело. Когда втаскивали осетра, лодку чуть не перевернули. Отец ругнулся замысловато. Мишка вычерпывал воду бешено, быстро, сильно. Опростили. Осетр взбрыкивал, закутанный в сеть, и Ефим тюкнул его веслом по башке. На глазах и белой губе рыбины выступила кровь.

И опять Мишку как ремнем ожгло.

«Кровь, у него и кровь красная, как навроде наша».

Губы облизал. Глядел, как отец продевает в рот и через жабры рыбе – кукан, крепкую и гибкую ветвь краснотала.

«Я никого, никого на свете, и никогда не убью».

А солнце тем временем выкатилось над рекой, заполонило собой все небо, из красного сделалось желтым, из желтого – белым, заливало ранней жарой излучину Волги, мощные овечьи кудри Жигулей, острова, лежащие посреди стрежня крупными тусклыми зелеными яшмами, темно-желтый, сырой после грозы песок, бакены с рыбьими стеклянными глазами фонарей, лодки с рыбаками, пухлые теплые, как женские груди, медленно и важно плывущие облака, полосатые створные знаки, груженные углем и песком баржи, колесные пароходы, и плицы глухо шлепали по воде, горячей алыми и золотыми огнями.

Осетр лежал на дне лодки. Острой мертвой мордой – к носу. Хвостом – к корме.

Когда хвост дрогнул и ожил, Мишка резко выкрутил весло в уключине, бросил на лодочный бок.

– Батя! – Задыхался. – А давай отпустим!

– Что, кого? Куда?

– Куда-куда! Осетра! Он... как человек!

– Хех, вон ты куда загнул. Дурак! Сам же ловил! Да он с икрою! Засолим!

«Да это еще и мать, может. Мать! Икру... вымечет! А мы его разрежем... выпотрошим...»

На мгновение мелькнула дикая, из довременных снов, картина: баба на кровати, вся в крови, и выгнутая, как играющая рыба, сабля над ее могучим животом.

И отцу то же виденье на миг примстилось. Оба – одно увидали.

Ефим зажмурился, опять ругнулся сквозь прокуренные желтые клыки.

Мишка склонился над осетром, трогал дрожащей рукой его радужно блестящие под солнцем щеки, костяной хребет, перегнулся через борт, закрыл ладонью глаза, дергал плечами. Слезы сами текли. Сам себя ненавидел.

...Жили трудно. Ефим сперва батрачил, потом сам разжился скотиной; за коровами и конем старательно ходила Софья. Замуж Софью никто не брал, хоть она и ликом вышла, и ростом, и повадкой. Ефим цедил: «Заговоренная ты! Сглаз на тебе!» – плевал в сторону, крестился, однажды в церковь сельскую пошлепал, скрипя зубами – ставить свечу Софье за здравие и очищение от всякой порчи и скверны.

Мишка рыбачил, рыбу продавал на рынке в Самаре. Любил скопище людское. Народ на рынок разодетый являлся. Рынок, церковь, кладбище – везде принарядиться людям охота. И любопытствуют, и себя выгодно выставляют. Мишка стоял над разложенной на прилавке рыбой, сырой дух бил в ноздри пьянее водки.

– Эй, народ, налетай, рыбку свежую хватай!

Рядом торговка в платке с серыми шерстяными кистями любовно поправляла капустный лист наверху ведра. Из-под капустного уха мелькало рыжее, золотое.

– Что это у тебя, мать? Маслята?

– Грузди красные, разуй глаза!

Платок сполз бабе на затылок. Под солнцем сверкнули неожиданно яркие, цыплячье-желтые волосы. Мишка глядел безотрывно.

– Пошто зыришь?

– А пондравилась!

– Прямо уж так?

– Адресочек есть?

– Есть, есть, да не про твою честь!

Весело швырялись легкими, пустячными словами. Народ тек мимо торговцев широкой шумной, пестро-солнечной рекой.

К Мишке подошла пара. Усатый господин крепко держал спутницу под локоть, будто боялся: убежит. Женщина держала спину прямо, и груди нахально торчали вперед двумя островерхими пирамидками. Мужчина брезгливо, двумя пальцами взял скользкого, нагретого солнцем судака за хвост, хотел перевернуть. Судак выскользнул и свалился на землю, в пыль.

– Живой? – холодно спросила дама.

– А то! Свежачок!

Судак лежал в пыли, не шевелился.

– Мертвый, – надменно процедил мужчина. – И глаз синий. А должен быть розовый. С кровью.

Баба с груздями, подняв и склонив по-птичьи голову, внимательно слушала.

Дама внезапно наклонилась и подняла с земли судака. Рыба раскрыла пыльные жабры и слабо шевельнула хвостом.

– Купим, Мишель! Тяжеленький! Лина уху сварит. Хочу ухи.

– Уха должна быть из осетра!

Господин зафыркал, как кот.

– Сварганьте тройную, – брякнул Мишка и снял картуз, как в церкви.

Перед грудастой дамой – снял.

– Платье попачкаешь! – сердито кинул господинчик.

Мишка рванул из-под корзины грубую бумагу, ловко свернул кулек.

– А вот пожалста!

Женщина медленно опустила в кулек судака. Мишка ловил глазами ее глаза и не мог поймать.

– А стерлядью торгуешь? – ворчливо спросил мужчина.

Мишка стоял с кульком в руках. Рыбий хвост сорочьим пером торчал.

– Всю уж раскупили. С ранья я...

– С ранья! – скривив усатую котячью морду, передразнил господин. Вытащил бумажник.

Бросил на прилавок деньгу. – Пойдем, Заза!

Женщина наконец наткнулась зрачками на зрачки Мишки. Его изнутри опажнуло диким кипятком. Хорошо, что быстро отвела глаза.

Он протянул кулек. Упрятал деньги за голенище.

– Кушайте на здоровье.

Следил, как подол белого платья метет пыль.

– А я из Дубовой Рощи, – хитро сказала баба и накинула на желтые волосы серый платок.

– Так ты наша! Буянская. Рядом.

– Да, рядышком.

Мишка наклонился, снял с ведра капустный лист, цапнул скрюченными пальцами верхний груздь, зажевал.

– Отменный посол. Умеешь. Я тебя в Дубовой Роще найду.

– Заплутаешь искать!

– Не заплутаю. Солдатка?

– Догадался...

– А я догадливый.

...Тогда же вечером Мишка, как на водопой, притек в Дубовую Рощу и бабу разыскал. Изба на окраине, три куры лениво траву щиплют перед незатворенной калиткой. Баба сопела и всхлипывала под ним, а ему его тело казалось чугунным и ржавым. Чугуннее, тяжелее всего давило и гнуло внизу живота. Когда избавился от темной тяжести – закричал облегченно, радостно. Баба наложила потную ладонь ему на оружие губы и зашипела: тише ты, чумной, живность перебудешь, а ну бык взиграет. «Я сам бык», – довольно выдохнул Мишка, привалился щекой к щеке бабы и тут же уснул. Баба выползла из-под него, горячего, как из печки, и, пока он спал, напекла блинов на воде, из грубой серой муки. Добыла из буфета банку меда. Марлю развязала. Смазала блины медом: масло все на жарку извела. Мишка во сне раздувал ноздри, чмокал, как младенец. Баба свернула трубочкой блин и поднесла к сонному рту. Мишка ел блин во сне, глотал, не давился, глаза не открывал. Улыбался.

\* \* \*

По весне Мишка посватался к новобуянской красавице Наталье Ереминой.

Сам не знал, как это все вышло. И не то чтобы он на девку заглядывался. И она на него не косилась. И не танцевал он с ней в широкой, для веселья слаженной, избе знахарки Секлети; и не увязывался за нею на Волгу или на Воложку, плавно, ласково обтекающую кудрявый от раки и густых осокорей Телячий остров. Не леживали они близко на желтом жарком песочке, не обнимались под старым вязом за околицей. Ни отцу, ни Софье Мишка не говорил про Наталью ничего. А вот однажды утром поднялся, вылил на себя за сараями, босыми ногами стоя на нестаявшем в тени снегу, ведро колодезной воды, крепко и зло растерся холщовым полотенцем, нацепил чистую рубаху, заправил под ремень в чистые портки, полушубок накинул – и, с мокрыми еще волосами, попер по месиву грязной, в лужах, дороги, по распутице, в дом к Ереминым.

Еремины богатыми слыли. Павел Ефимович держал маслобойку и домашнюю мельницу. Батраков, правда, не держал: семья большая, все работали, даже маленькая Душка скотине корму задавала, а еле вилы поднимала. А малютка Галинка на Волгу полоскать белье ходила: к корзине веревку привязывала и так волокла – по траве ли, по снегу. Выполощет, руки холодом

водяным ей сведет, греет их дыханьем. Потом опять корзину тяжелую, с мокрым бельем, тащит в буянскую гору.

Марфинька стряпала, Сергей помогал отцу косы точить, Иван помолом занимался, вместе с Игнатом. «Парни с мельничошкой лучше меня справляются!» – хвастался перед сельчанами Еремин.

Одиннадцать детей, шутка ли сказать! А Наталья – старшая. Смуглая, как татарка. И раскосая. Да Павел Ефимыч сам раскосый, что тебе калмык. Церковный староста; все ему кланяются, когда по улице движется, горделивей царя.

Женку взял – воспитанницу помещика Ушкова. Польку. В православие крещена Анастасией. Волосья длинные, русые, завиваются на концах. Одного родит – другим уж беременна. «Ты чего, Павлушка, женку-то без перерыва брюхатишь?.. штоб на гулянки не хаживала?.. хитер ты бобер!» – кричал ему через плетень, смоля черную трубку, сосед Глеб, одноногий старик, – ногу в Болгарии потерял.

Мишка мокрые вихры ладонями пригладил. Ежился на мартовском теплом и сильном ветру.

Осторожно в дверь постучал.

– Эй! Хозяева! Можно?

Донесся стук железных плошек, дух грибной похлебки. Заскрипела жалобно дверь, отирая руки о передник, вышла Настасья.

– Здравствуйте, Настасья Ивановна.

– Здравствуй и тебе, Михаил. Пожаловал с чем?

Мишкины скулы налились красным ягодным соком.

– Да я это...

– Вижу, что это. Проходи.

Толкнула маленьким кулаком дверь. Мишка стащил сапоги и мягко, как лесной кот, ступая, прошел за Настасьей в залитую солнцем залу. На покрытом белой скатертью столе в вазе стояли ветки вербы. Пушистые заячьи хвосты цветов усыпаны золотой пылью.

Мишка стоял перед Настасьей босой, смешной. Сам себя ненавидел.

– Я это, свататься пришел.

– Один пришел?

– А что, не одному надо?

Еле видно улыбнулась Настасья.

– К кому присватываешься? У меня все дочки махоньки.

– Не все. Наталья – на выданье.

– А, вон ты метишь куда.

Медленно повернула голову к косорылому, подслеповатому окну, будто высматривала на дворе кого. Мишка невольно залюбовался гордой шеей, тяжелым русым пучком, оттягивавшем затылок женщины книзу: дома ходила с непокрытой головой. «Беленькая, а детки все смуглявые получились. Ереминские кровя пересилили, азиатские».

Стоял, переминался. Ждал.

Настасья отвечать не торопилась.

Наконец обернулась.

– Приходи попозже, покалякаем.

– Это как попозже? – Обозлился. – Через два дни, через годок?

– Яков за Рахилю семь лет работал и еще семь, – сурово изронила Настасья.

Мишка глядел на недвижные, лежащие снулыми мальками поверх вышитого фартука пальцы. «Ручонки красивые, как у барыньки, а изработанные».

Пальцы дрогнули, стали мять и дергать нити вышивки.

Крикнула в приоткрытую дверь:

– Наташка!

Молчание. Потом послышался топот по половицам босых ног. Влетела Наталья, ступни из-под юбки загорелые, на смуглые румяные скулы с висков кудри жгучие, вороньи, свисают, крутятся в кольца. Глаза летят бешеными шмелями впереди лица. Увидев Мишку, вмиг при-  
смирела. Воззрилась на мать. Стояла, губы кусала.

Настасья повела подбородком к плечу.

– Сватается к тебе, видишь ли.

Наталья глаза в пол опустила. Внимательно половицу разглядывала.

Мишка ошущал, как время, уплотнившись и отяжелев, больно стучит ему по оглохшим ушам.

– Эхе-хе, птенцы. Что молчите? – вздохнула мать. – Никто из вас не готов. Наташка юна, да и ты цыпленок. Еще поднаберитесь жизни. Ума-разума наберитесь. Тогда и дом можно заводить. И детей. А кто вы теперь? Сами дети!

Серdito махнула рукой. Наталья вскинула на Мишку глаза. Он шагнул назад, будто босой ступней на угли наступил. Помолчал, еще потоптался медведем, ниже, еще ниже голову пове-  
сил, вот-вот шея переломится. И повернулся, и пошел прочь, не поклонился даже.

По двору шагал – Наталья догнала. По плечу легонько ребром ладони стукнула.

Он сначала останавливаться не хотел, смутился и разозлился. До калитки дошел, тогда обернулся. Наталья стояла поодаль. Не догоняла его. Он сам, вразвалку, подошел. Сапоги глу-  
боко уходили в грязь, в колотый лед.

– И что?

– А ты что?

Враз засмеялись. «И верно, дети мы еще».

Мишка, будто бабочку ловил, нашел руку Натальи, крепко сжал. Она руку грубо выдер-  
нула.

– Больно!

– И мне больно.

– Ой, отчего?

– Влюбился я в тебя.

– Ой ли! Где это ты успел? Я на гулянки к Секлетее не хожу!

– Ты себя на селе не запрячешь.

Наталья дула на руку, как на обожженную.

– Охота была прятать!

– И от меня не укроешься. Точно тебе говорю.

– Ишь, храбрец. Среди овец!

У Мишки пересохли губы. Босые ноги Натальи плыли в грязи, две смуглых лодки.

– Я тебе... хочу...

– Ну, что?

– Ноги вымыть... в тазу... как Господь ученикам...

Наталья хохотнула. Ветер отдул ей вороную прядь и приклеил к губам.

– Ты не Христос, и я не твоя ученица!

– Будет время, всему научу.

– Нахал, ишь!

Но не расходились. Так и стояли у калитки.

Настасья глядела на них в окно. Мишка еле различал в косом квадрате невымытого с зимы стекла: белые разводы, легкие цветные пятна, движенье, будто сосульки под солнцем с крыши капают, плачут. Ни глаз, ни волос, одно вспыхиванье. Наталья покосилась на окно, вздохнула.

– Иди уже, Минька. Тебе еще гулять треба!

– А тебе?

– А на мне хозяйство.

Опять ее руку поймал, и она не отняла.

– Вместе будем хозяйство ладить.

– Ой! Напугал! Да у тебя и своего-то дома нет! В отцовом живешь!

– Срублю. Недолго.

Теплая рука, теплое смуглое Натальино лицо рядом. Скулы широкие, глаза узкие.

Мишка лицо приблизил.

– Калмычка...

– Что мелешь. Русские мы. Еремины, по прозванию Балясины.

Мишка внезапно сделал шаг в сторону. Под стрехой стояла кадка, полная талой воды. Схватил кадку, легко приподнял – и опустил рядом с босыми ногами Натальи. Взял ее ногу обеими руками и в кадку макнул. И Наталья не воспротивилась. Стояла покорно и глядела, как парень ей ногу моет.

И другую вымыл. И залиvisto засмеялась девушка.

– Так я же щас их наново запачкаю!

– Грязни. На здоровье.

«Я сделал, что хотел».

Наталья толкнула ногой кадку. Грязная вода вылилась на землю.

Мишка стоял с мокрыми руками. Обтер руки о портки.

Попятился к калитке. Отворил.

Уже за калиткой стоя, обернулся и сухой, наждачной глоткой выдавил:

– Я еще тебя в банешке всю буду купать.

И пошел. Наталья вслед смеялась.

– Банник тебе пальцы отломает!

\* \* \*

Жара ближе к сенокосу ударила знатная. Трава, ягоды на глазах кукожились и подсыхали. Бабы шутили: в лесах вокруг Барбашиной Поляны дикая малина сама в варенье превращается, и варить не надо. Софья готовила наряды к сенокосу: белый платок, белую, с красной строчкой по подолу, холщовую юбку.

– Минька! Я тебе рубаху нагладила.

– Спасибочки! Как в господском доме. Я прямо барином гляну!

Гляделся в зеркало с отломанным углышком. Сам себе не нравился.

«Глаза у тебя, парень, просят пить-гулять. А рожа скучная. И правда, жениться надо».

Метнул косой взгляд на Софью.

«И эта в девках засиделась. Вечная монашенка».

Софья стояла с чистой глаженной рубахой в распяленных руках.

– Минька! Дай надеть помогу!

Дался покорно, конем голову наклонил, шею согнул. Софья напялила ему на плечи рубаху, поправляла ворот.

– Косо пошила... неровно лежит...

– Кому меня разглядывать.

Ефим уже стоял на пороге с двумя литовками.

Взбросили косы на плечи, пошли, широко шагая. За ними, мелко и быстро перебирая ногами, спешила Софья с маленькой, будто игрушечкой косенкой. Той смешной косенкой траву срезала Софья быстро и ловко, мгновенно выкашивая лужайку или зеленую ложбину на угоре. Бабы сноровке ее люто завидовали.

Сельчане уже трудились вовсю. Угор над Волгой был весь усеян белыми, алыми, розовыми, синими, небесными рубахами, юбками, поневами, сарафанами: бабы и мужики дружно поднимали косы, остро и быстро двигали ими над шелестящей травой, вонзали в самую травную, мощную гущу. За блеском лезвий трава ложилась покорно, обреченно. Выкос все рос, расширялся, угор постепенно обнажался, а девки шли за косцами с граблями и сгребали накошенное в кучи и стожки. Кто посильнее да помускулистее – сбирал стожки в настоящий стог, очесывал его граблями и охлопывал.

Ефим и Мишка взбросили литовки. Косы запели в их руках, почти под корень срезая могучую траву.

– Гнездо не срежь. Тут козодои гнезда вьют.

– Ну и срежу? Невелика беда.

– А если Господь твое – срежет?

– У Иова вон срезал. Да Иов Ему опять же молился. И Господь ему – все вернул.

Косы пели и визжали резко, тонко, длинно.

Ефим криво усмехнулся. Пот тек по его губе.

– Сынок-от у меня Писание, оказывается, читает.

Мишка вскинул косу высоко, захватил сразу полкруга травы вокруг себя.

– Да это мне Софья читывала. Я и запомнил.

Вжикали косы. Потянуло пьяным цветочным духом. Мишка скосил глаза. Никого. Обернулся. Сзади и чуть сбоку, ступая по траве осторожно и легко, шла Наталья и резво, быстро косила; справа от нее шла Софья, еще поодаль две бабы со двора Уваровых гребли скошенное.

Бабы все были в лаптях, а Наталья босиком.

Косовище в руках Мишки мгновенно вспотело и заскользило.

Молчал, сильнее сжал губы. Делал вид, что ее не заметил, не видел.

За бабами, подалее, шел Степан Липатов, косой возил, как тяжелым молотом в кузне. Хлипкий был Степан, хворал вечно. Ветер дунь – и свалится: с кашлем, с хрипом. В жару – в обморок падал. Вот и сейчас лоб, как баба, белым мокрым платком обвязал, чтобы солнце не ударило.

Шуршала трава. Визжали и плакали косы. Блестели под свирепым, добела раскаленным солнцем узкие, как стерляди, лезвия. Вперед, вперед, не останавливайся, резвый сенокос! Еще велик угор, а скосить к закату надо. А пить-то уже как охота, да и есть тоже.

Мишка облизнул губу. Больше не глядел в ту сторону, где косила Наталья.

Она-то его прекрасно видела. На траву, на лезвие не глядела, а глядела на Мишку, и глаза ее искрили, смеялись. Софья исподтишка за ними обоими наблюдала. Софье по весне уж донесли: Минька к Наташке свататься шастал. Да все с весны замолкло. Замерло, а может, и сгасло. Неведомо то.

Тянули грабли траву. Переступали в траве босые ноги. Кто в лаптях да в онучах, счастливей босоногих был: трава щиколотки резала не хуже ножа.

И вдруг – короткий резкий крик. Наталья аж присела от боли на траву.

Мишка первым бросился к ней. Не думал, что задразнят, заплетничают. Просто – рванулся.

– Наташка! Что?!

Глядела смущенно, глаза прощенья просили.

– Да дура неловкая. Лезвием резанула.

Кровь из порезанной лодыжки щедро хлестала, поливала траву.

Мишка сорвал с себя рубаху. Рвал на куски сильными руками, терзал, как дикий кот – утку. Всю на клочки разодрал. Тряпками рану Наташке заткнул. Полосами рваной ткани стал туго-натуго перевязывать.

– Ой-ей, ты не шибко крепко! Распухнет, коли жилу перетянешь.

– Без тебя знаю.

Наталья вытягивала ногу по траве. Мишка пыхтел. Бабы сгрудились, стояли над ними, цокали языками, ахали.

– Бедняжечка Наташечка! Сама себя!

– Так вить дело недолгое...

– Каждая минутка на счету... а вот девка свалилась!

– Я не свалилась, – Наталья голову приподняла, – щас все пройдет.

Белый платок сполз ей на брови. Черные калмыцкие глаза горели гневно. На себя сердилась.

Мишка завязал охвостья, ладонь положил на Натальино колено. Она руку его с колена скинула.

– Спасибо.

– Бог спасет.

– Ступай домой!

– Еще чего. Напрасно.

Тяжело поднялась с примятой травы. Выстонав, косу подхватила. Шагнула вперед. Еще вперед. И пошла, пошла, пошла. Засвистела коса. Мишка Натальей залюбовался. Подшагнул к ней и, сам не зная, что творит, положил руки ей на плечи.

И отдернул, как от огня.

Она продолжала косить, ничего не сказала. Будто слепень сел, посидел, не укусил, улетел.

...Солнце когда на закат перевалило, стали обедать. Сели в тени телег. Лошади стояли в тенечке уже наметанного большого стога, вздыхали, жевали скошенную траву. Софья расстелила на траве два широких полотенца, вынула из телеги мешочек. Из мешочка на полотенце вывалились: круглый ситный, круглый ржаной, нож, блестящий не хуже астраханской сельди, а вот и рыбка вяленая, каспийская тарань, а вот в банке разварной сазан с ломтями вареной ярко-желтой икры. Пучки луку зеленого, да в обвязанном платком чугушке – вареная прошлогодняя картошка. Первый чеснок, зубчики Софьей заботливо почищены. Да в пузырьке из-под аптечного снадобья – крупная серая соль.

У Мишки слюнки потекли. Предвкушал трапезу.

– Софья! А пить, пить-то взяла ай нет?

– А то. Забывчива, думаешь?

Встала, наклонилась над краем телеги. Из-под мешков вытащила четверть. Там булькал темный квас. Софья тяжело вздохнула.

– Нагрелся, собака. Как ни упрятывала...

Мишка ел, пил. Глаза у него будто на затылке выросли. Хотел оглянуться на Наталью, да себя поборол. В тени громадного осокоря, росшего на скате угора, стояла телега Ереминых. Наталья держала в обгорелых на солнце руках ломоть, крупно откусывала, жадно жевала. Смотрела в затылок Мишке.

Мишка утер рот ладонью, легко встал с земли. Глазами Наталью нашел. Подошел, чуть подгибая в коленях ноги, пружиня в шаге. От теплой земли, от горячей скошенной травы вверх поднималось марево. Натальино лицо колыхалось, видимое как сквозь кисею.

Присел рядом с ней, на траве сидящей, на колени.

Вдруг Наталья сама ладонь ему на колено положила. И руку не снимала.

Ее зубы хлеб во рту месили.

Мишка боялся шевельнуться.

– Ты что? – беззвучно спросил.

Наталья тихо засмеялась.

– Рыжий ты, – сквозь смех выдавила. – Да я еще подумаю.

Даже лоб у Мишки под картузом покраснел.

– Я красный, ты черная, какие детки получатся? – так же шепотом, да грубо, прямо в потное девичье лицо кинул он.

Загорелая рука сползла с Мишкиного колена. Наталья дожевывала хлеб. Проглотила. Крепче узел белого платка на затылке завязала. «Будто снежная шапка на башке, и не тает», – бредово думал Мишка. Маревое завивалось вокруг них. Пахло раздавленной земляникой.

От ближнего стожка веял аромат донника.

На миг Мишке почудилось: они оба – в стогу, и он целует Наталью безотрывно.

\* \* \*

Снарядили Еремины телегу на самарский рынок – мукой да маслицем поторговать. Мельничошка и маслобойка работали без простоя, наняли Еремины все-таки двух батраков, семьей не справлялись. Сельчане, видя, что Мишка по Наташке сохнет, шутили: «Тебе бы, Минька, к Павлу-то Ефимычу батрачить пойти, вот и слюбились бы с Натальей Павловной».

Ходил кругами, как кот вокруг утицы в камышах, и все повторял: рыжий я, рыжий, рыжий, для нее противный. «Поцеловать бы хоть разик! Глядишь, и попробовала бы, какова любовь-то на вкус».

Увидел разукрашенную, в честь путешествия в Самару, ереминскую телегу: с привязанными к бокам красными и белыми ленточками, с зелеными березовыми ветками, с вплетенными в конскую сбрую золочеными кисточками. Побежал, босой, ступни жнивье кололо. Догнал, запыхавшись. Наталья сидела поверх мешков. Она видела, как он бежит, глядела молча, строго.

Догнал. Конь шел медленно, телега тряско переваливалась с боку на бок. Младшая сестра Натальи, Душка, щеки в оспинах, обнимала грузный мешок с мукой, остро вонзала маленькие раскосые глазенки в мрачного Мишку. Он быстро шел рядом с телегой. Ловил глазами глаза Натальи.

– На рынок?

– А то куда!

Душка отвечала бойко, громко, быстро. Будто собачка лаяла.

– Меня возьмете? Гляжу, у вас мужиков нет. А ну нападут? Добро отымут!

– Есть. Вон братан спит!

За мешками, за крынками с маслом и правда кто-то сонный валялся. Сергей, младший брат.

– Какой это мужик. Кошке на ночь не погрызть.

Вдруг Наталья подняла ресницы. Мишку будто две черных пчелы ужалили.

– Прыгай. Поможешь мешки сгружать.

– Да и торговать помогу! Я умелый!

На ходу в телегу запрыгнул. Умогнулся к Наталье поближе.

Солнце било отвесными лучами в головы и плечи. Наталья пошарила за спиной, вытащила чистое полотенце.

– На. Затылок обвяжи. Напечет.

...На рынке Мишке не пришлось стаскивать наземь мешки, банки, жбаны и крынки – торговали прямо с телеги. Конь стоял послушно, печально. Наталья коню на холку накинула холстину, от жары спасала. Масло народ покупал прямо крынками. Ереминское масло на самарском торжище славилось. Мишка исподтишка разглядывал Наталью. Развышитая рубаха, крохотные красные камни в смуглых мочках. Широкие, и впрямь калмыцкие скулы. Высокая шея.

– Шея у тебя башня, – сам себе прошептал. Наталья услышала.

– А у тебя – воротный столб!

Душка торговала мукой. Волосы, руки, грудь уже белые, как снегом замело. Совок в руке, малявка, держит неумело, муку на ящик-прилавок то и дело просыпает.

А все ж народ громко, во весь голос толкует, на Душку косясь:

– Вон, вон! Эта рябая! Гляди-ка, ишь, бойкая торговля!

Наталья режет масло, тайком слизывает с широкого квадратного ножа-тесака.

– Язык обрежешь.

Мишка и вправду пугается.

– Еще чего! Я ловко.

Сергей в большой кошель деньги собирал. Мишка на кошель косился.

Вдруг конь странно, безумно мотнул головой, дико заржал и пошел, пошел вперед, ступая без разбору, давя копытами чужую снедь, разложенную на мешковине и холстах на жаркой земле!

– Эй! Балуй!

Мишка напрягся. Раздумывать было некогда. «Сейчас взиграет, на дыбки встанет. Копыта опустит – небось кого передавит! Быстрее надо!» И уже не думал. Ринулся вперед. Забежал впереди обезумевшего коня. Подхватил под уздцы. Конь лягался задними ногами. Оглушительно ржал прямо Мишке в ухо. Мишка кряхтел, упирался в землю ногами. Держал крепко. Вцепился в поводья. Конь выпучил бешеный глаз, грыз удила, рвался. Мишка стоял и держал. Устоял. Крынки в телеге попадали. Растаявшее на жару масло вытекало из под марли. В телегу прыгнул приبلудный кот, жадно слизывает потеки масла и сметаны.

Наталья подбежала к коню.

– Где тебя укусило?.. ты скажи, скажи, Гнедышка... где...

Шарила по мокрой лоснящейся, шелковой конской шкуре руками, ладонями. Пальцами – искала. Кулаки Мишки побелели, крепко сжатые. По губам коня текла слюна.

– Вот... ага...

Наталья чуть присела, засунула руку между конской ногой и брюхом. Бока раздувались, ребра сквозь гнедую шкуру ободами бочонка просвечивали.

– Клещ какой! Жирный!

Лицо Натальи сморщилось, она выпростала из-под конского брюха руку. Между ее скрюченных пальцев Мишка с отвращением увидел круглый черный раздутый шар великанского клеща.

– За животягами не уследишь... и вроде на ночь в конюшне чистила его, мыла...

– Дай раздавлю, – сказал Мишка.

– Да у тебя ж руки заняты. Ты лучше Гнедышку держи.

Конь сопел, храпел. Глаз светился синей сизой сливиной.

– Ты мне под ногу бросай.

– Уползет!

– Пусть попробует.

Наталья кинула клеща на землю. Мишка вдавил его босой пяткой в твердую землю. Нежная пыль мукой облепила его ступню. Наталья присела на корточки.

– Дай гляну, сдох ли. Они жесткие, гады.

Юбку в пыли пачкала. Мишка оглаживал коня по холке.

– Ну да, живой, дрянь!

Сергей нашел в телеге, в соломе, молоток, бросил Наталье. Она поймала.

Била по клещу, как по гвоздю. Мишка рассмеялся.

– Все, шабаш. В землю вбила! Как зерно, прорастет!

Наталья разогнулась. Тяжело дышала. Заправляла смоль волос под платок. Душка поднимала в телеге упавшие крынки, тряпицей подтирала масляные и сметанные лужи. Конь успокоился, ржал тихо, благодарно.

– Проголодался? – спросила Мишку Наталья.

Не смотрела на него. Только вбок и вниз.

– Есть немного.

– На. Похлебай сметанки.

Вынула из телеги и протянула ему крынку.

– А ложки ж нет!

– А ты прямо через край. Мы тут не в трактире.

Мишка взял крынку из рук Натальи, и тут она на него посмотрела. Будто раскаленной, из печи вынутой кочергой полоснуло ему по лицу. Пил из крынки сметану, чуть закишшую на жаре, а глаз от глаз Натальи не отрывал.

И она – не отрывала.

...Из ереминского дома Павла Ефимыча на лютую войну взяли.

А когда Мишка на войну ушел, биться с неприятелем за веру, царя и отечество, Наталья недолго в девках побыла.

Через полгода после Мишкиного отъезда обженили Наталью со Степаном Липатовым, хлипким да болезненным, из старинного казачьего рода. Издавна жили казаки Липатовы в Жигулях. И все у них силачи рождались, только вот один Степан – выродок: в груди узкий, в плечах хилый, ножки что спички, то и дело кашляет, сам сутулится да еще на живот жалуется. Бабки-знахарки его уж и всякими отварами поили, и над ним нашептывали – бесполезно. Таким уродился, видать.

А зачем Наталья согласие дала? А низачем. Так просто. Одинок одной. Да и мать перед иконами, на коленях, плакала: бобылкой нельзя быть, соломенной невестой – нельзя! Где твой Минька? Бог весть. И не вернется! Убьют его, как пить дать. Или уже убили.

Сваты от Липатовых пришли, с хлебом-солью. Наталья вышла из дальних комнат, голову смиренно наклонила.

Потом, ночью, край кисейной занавеси себе в рот засовывала, грызла – так кричать, во весь голос реветь хотела. Да от всего семейства стыдно. Себя борол, руки кусала. Встала с кровати, молилась всю ночь.

...В Буяне на водонапорной башне то красный флаг воздевали, то трехцветный. Выстрелы сухо хлопали. Когда белые село занимали – расстреливали и жгли. Красные захватывали – не лучше отличались. На Ереминых не посягали: у всех мужчин в семействе – ружья охотничьи, у Павла Ефимыча – турецкая винтовка, нарезная тяжеленькая берданка. Стреляли все метко. Даже девки. Наталья сама стреляла и не раз на охоте в зайца попадала. Дом крепкий, что тебе крепость. Ни белые, ни красные его не трогали. Будто замоленный был, заговоренный.

Да попросту – боялись.

А Мишка? Что Мишка?

Ушел себе и ушел. Куда ушел? Под пули.

...Революция пришла, загрызла рыбу-время красной кошкой.

Софью изнасиловали красные. Она после того повесилась в сарае на конской узде. Избу Ляминых подожгли, с четырех сторон весело, с треском горела, ярким пламенем, как соломенная Кострома на масленицу. Ефим пошел на Волгу, сел в лодку, отвязал ее от столба, выплыл на стрежень, помолился на солнце и кувыркнулся в воду. А вода-то была ледяная – апрель, река вскрылась, крупные льдины со зловецим шорохом двигались вниз, к морю, мелкие грязные льдинки плыли быстро, как пестрые утята, на иной льдине сидела собака, морду подняв, выла, не хотела смерти.

\* \* \*

Они долго ехали сюда, ехали без страха, но с тоской и тревогой, ехали через всю страну, что еще так недавно была их страной, и они владели ею, и она была под ними, под русскими царями, – и ничего, что она, царица, рождена ангалт-цербтской немкой, а в нем намешано и английской, и немецкой крови – через край прольется; они все равно были русскими, наперекор всему, и это была их Россия, – а теперь уже вовсе и не их, – а чья же тогда?

Ничья, может, и ничья. Разброд во властях; разброд в умах.

И война не закончена. Война идет.

Они так долго сюда ехали, что им казалось – они будут ехать так всегда, под ними грохотали колеса, шумели и вздрагивали пароходные плиты, под ними неслась и расстилалась и убегала назад, за поворот, за горизонт, земля, и ее они любили, а вот любила ли их она?

Теперь на это не было ответа.

И сами себя они боялись обмануть.

А когда приехали, прибыли в Дом Свободы – и смешно так прозывался дом, как в насмешку над ними, а может, в укор, – забыли, что где-то грохочут пушки и рвутся снаряды, забыли, как девочки натягивали на головы платки сестер милосердия, чтобы бежать в размещенный во дворце госпиталь для тяжелораненых, а Бэби вертелся перед зеркалом в новенькой шинели – ехать на фронт, в Ставку, с отцом; забыли, как народ бежал по улицам Петрограда с плакатами: «ВОЙНА ДО ПОБЕДЫ!», «РАЗГРОМИМ ПРОКЛЯТАГО НЕМЦА!»; забыли, как царь бледными губами повторял перед народом, перед министрами, перед семьей, сам с собою, наедине: «Будем вести войну, пока последний враг не уйдет с земли нашей». Они все забыли. Память горела дикой раной, но они замотали ее плотными лазаретными бинтами.

Они все забыли, и войну, и эту пошлую, зверью революцию; их землю выбили у них из-под ног, как табурет, и они закачались на ветру, – еще не повешенные, но уже летящие.

А друг другу улыбались. Сами себе – в забвении своем – боялись признаться. Сами себя хвалили, сами себя ругали. А если хвала и ругань доносились извне – старались не слышать.

Николай садился напротив жены, ласково улыбался ей, брал ее за руки и шептал: Аликс, ты сегодня превосходно выглядишь, ты такая у меня красивая, я ослепну от твоей красоты.

Она не верила, а делала вид, что верила. Чтобы ему сделать приятное.

Спасибо, родной, вот я и весела.

Она ему что-то доброе, милое быстро, оживленно говорила в ответ, заговаривала ему зубы, чтобы он не вспомнил, не понял, что они живут взаперти, что дворца больше нет, а есть суровый, бедный пустой дом, где они одни – под присмотром грязных красных солдат; лепетала, улещивала, усовещивала, советовала, ласкала, – развлекала, а он вдруг сильнее сжимал ее старые, уже морщинистые руки, и она испуганно слушала его голос, каждый малый звук в нем, каждый хрип: «Знаешь, я не чувствую время. Я перестал его ощущать. Аликс, мне кажется, никакого времени нет. Нет и не было. Я отрываю от календаря листки и удивляюсь: на них оттиснуты какие-то числа, какие-то цифры. Я гляжу на них и не понимаю, что это такое. Тысяча девятьсот восемнадцать, пятнадцать, двадцать три, девять, тридцать, одиннадцать. Какое-то лото, барабанные палочки. Барабанные палочки, слышишь! Я ничего не понимаю. Время исчезло. Вот ты мне скажи, ты, только ты, – оно есть или его уже нет?»

Царица, сжимая его руки, глядела на него круглыми от ужаса глазами. А голос делала сладкий, нежнейший. «Да, милый, да. Оно есть. Оно нам подарено Богом. Чтобы мы совсем не заблудились, не потерялись. Чтобы мы не лишились разума и...»

Жена замолкала, и он обеспокоенно сам теперь жал, тискал ее руки, спрашивал хрипло, тревожно: и чего? Чего? И – чего?

И тогда царица долгим взглядом проникала в него, и ее безумные зрачки, водяные, речные радужки проходили сквозь него, насквозь, и выходили наружу, как пули, навывлет.

«И любви», – говорила она еле слышно.

... а когда ложились спать, холод наваливался на них и обнимал их, под толстым жутким одеялом холода они все крепче обнимали друг друга, и царь шептал жене на ухо, под седую печальную прядь: знаешь, если мы тут все выживем, если живы останемся, если – выйдем на свободу, то, пожалуйста, не спорь со мной, я так решил, я это на самом деле давно решил, только тебе не говорил, да что там, ты и так все сама знаешь, я – стану – патриархом.

Жена ахала и клала ему обе ладони на горячий лоб, а он тихо смеялся и бормотал: охлаждай, охлаждай меня холодненькими ручками своими, я весь горю, я вот думаю – я для этого дела на земле и назначен, что я все эти годы делал на троне, ума не приложу, я же просто священник, я – для церкви, я всю жизнь мечтал об этом, и здесь, в этой сибирской лютой зиме, сижу и мечтаю, лежу и мечтаю, и думаю, что это было бы самым правильным, наиболее верным для меня, да что там – для меня: для всех! Для всех нас! Знаешь, я чувствую, что это мой путь! Золотом, золотом светится он. Горним золотом, милая. И мне стыдно, что я... слишком мягкий для войны, хоть я и хорошо умел воевать, слишком мягкий для моего народа, для вас всех, семьи моей. Я иногда чувствую: я стою будто в свете. И он так мягко, мягко обнимает меня. И мне тогда так стыдно, стыдно! И я так плачу тогда! Но ты, ты не видишь. Я боюсь тебя расстроить. Я плачу один. Ты прости меня за это, пожалуйста, прости.

... и жена бормотала, сумасшедшая, растрепанная, глядя несчастными глазами, счастливо плача, теперь уже в жесткое горячее ухо ему: мне не за что тебя прощать, ты для меня святее святого, и, если бы ты уже был – патриарх, я бы первая попросила у тебя благословенья.

\* \* \*

– Эй! Лямин! А ты слышал таково имя – Троцкай?

Михаил медленно, старательно раскуривал самокрутку.

Раскурил, тогда поднял глаза на кричащего.

Лешка Уховерт стоял неблизко, поодаль, потому и орал.

Лешка страшной жестокостью отличался, а еще силен был, как три быка: ему в лапы не попади – раздавит, и только кости хрустнут. Иные в отряде с ним пробовали бороться. Выходило себе дороже.

– Нет! Не слышал!

– Глухой ты! Ищю услышишь!

– А ты – слышал?!

Перекрикивались, как на пожаре. Михаил косился на ноги Уховерта: без сапог, а портянками обмотанные.

– Я – да!

– И чо?

– Да один такой! Мне Куряшкин говорил: в Москве, грит, власть у йо щас большая!

– Важней Ленина, или как?

– Да кто ж его знат! Может, и важней! Там их, героев-то да вождей, сам черт разберет!

– Зачем же ты мне – про него – баешь?!

Уховерт, перетекая мощным телом с боку на бок, подплыл по солнечному хрусткому снежку к Михаилу. До ноздрей Лямина донесся водочный дух.

– А затем, – Лешка наклонился, и сильней, острей запахло спиртом, – что будь готов, солдат, ко всему.

Говорили тише.

– К чему это?

– А к перемене.

– Чего?

– Власти. Власти, дурень, чего-чего!

Совсем тихими стали речи. Дым окуривал наклоненную голову Лямина.

– Будто ты про власть много чего знаешь.

– Да уж не мене тебя.

– Мене, боле. Болтун.

– Шас, болтун. Из Питера наместни брат Колосова Игнатки вернулся. Рассказни рассказывал.

– А ты слыхал?

– Если б не слыхал, не калякал бы.

– И что слыхал?

– Там во дворце одном все наши владыки собрались. Под началом Ленина, понятно. И думу думали. Колосов Никитка, Игнаткин брат, там был и все запомнил. Все.

– Что – все-то? Кончай загадками брехать.

– Я не брещу. Скоро нас отсюда, из Тобольска, вместе с нашими царями, выродками, погонят.

– Куда погонят?

– В друго место. Никитка говорит – на Урал.

– Чо мы на Урале-то забыли?

– Да не мы забыли.

– Урал велик.

– Екатеринбург имею в виду. Там, Игнатка разузнал, у власти один ушлый мужик. Исайка Голощекин.

– Из бедняков?

Михаил затягивался глубоко, вдыхал дым и носом, и ртом, чтобы глубже прошел, опьянил, насытил усталое тело обманом краткого отдыха.

– Из самых что ни на есть.

– Это хорошо. Наш, значит.

– Значитца, да.

– Да команды никакой ведь не было к отъезду.

– Это понятно. Да все к этому идет. Никитка врать не будет.

– А что, Никитка допущен был к высоким разговорам? Простой красноармеец?

Окурок тлел, дотлевал в согнутых, сцепленных грязным заскорузлым кольцом пальцев.

– Простой! – Уховерт хохотнул. – Мы нынче все не простые. Нынче – власть народа. Смекай, значитца, чья власть? На-а-аша. То-то же. Шас всякий-каждый – до верхов долезть может. И с самим Лениным балакать. Никитка – балакал.

– Не верю!

Насмешка изогнула табачные губы Лямина.

– А я – верю. Толку что не верить?

– Ладно, – мирно сказал Лямин. – К сведению принял. И что это означает?

– Как – что?

Уховерт, не мигая, глядел в заросшее щетиной лицо Лямина.

– Мы можем ужесточить режим охраны?

– А-а, вот ты о чем. – Лешка плечами пожал. – Хочешь, и ужесточай. Веселись в свое удовольствие. Надо же им отомстить, негодяям.

«Гляди ж ты, как всем нам они насолили».

Вспомнил, как царицу в газетах рисовали отвратной проституткой, чернобородого Распутина рядом с ней – грозным остроклювым коршуном, только без порток, а царя – с длинными хищными зубами, и кровь с клыков на мундир каплет.

Кровавые! Изверги!

«Вместо того, чтобы их пустить в расход где-нибудь в проходном дворе – мы тут их бережем, стережем. Сметанкой кормим, яйцами. Свежий хлеб на рынке повара покупают, да чтоб калачи еще теплые были».

Дрогнул спиной. Свел лопатки.

«Надо что-то резкое, злобное сказать. А то подумает: я тряпка, тютя. Или что я с царями в сговоре».

– И то правда. Спасибо, надоумил.

\* \* \*

Их было трое, и все уже под хмельком.

Как Михаил затесался меж них, он толком не помнил.

Сначала комиссар отпустил погулять: вроде как вознаградил. «Кумекает, паря, што мужикам тожа надоть отдыхнуть!» Чей голос выпалил это Лямину в самое ухо? Он даже не обернулся – как шел по темной улице, так и шел. Чуть впереди этих троих.

Куда шли? В Тобольске не загуляешь с размахом, это тебе не Москва, не Питер. И даже не Самара. «Ой, Самара-городок, беспокойная я...» – сами вылепили губы. Помял пальцем верхнюю губу: простыл намедни, там, где усы пробивались жесткой грубой щетиной, выскочил крупный, с ягоду черники, чирей.

Однако шли гулять, это он хорошо помнил.

– Беспокойная... я... успокой... ты...

Фонарь висел над головой переспелым желтым яблоком.

– Меня...

Когда шли по улице Туляцкой – навстречу трое.

«Их трое, да нас же четверо, отобьемся, если что».

Шаги срезали расстоянье. Подошли ближе. Вот уже очень близко. Офицерские погоны.

– Беляки, – плюнул вбок Андрусевич, и слюна на усе осела, – вот тебе номер...

Мерзляков подобрался, под расстегнутой курткой – Лямин увидел – подтянул ко хребту живот. Готовился.

– Ненавижу, – тускло сказал Андрусевич. Глубже надвинул на глаза кепку.

– Я лютей ненавижу, – бросил Люкин. И визг кинул в ночной холодный, черный воздух:

– Ненавижу-у-у-у!

Офицеры встали.

«Откуда? С какого припеку? Кто завез? Сами приехали? Брать. Расстрелять на месте?»

Мысли ошалело бились друг об дружку.

Лямин видел, как руки, пальцы офицеров Белой Гвардии ищут застёжки кобуры. Люкин уже держал наган наизготове. Быстрее всех успел.

«Сейчас бахнет, и наповал».

– Стой! Они расскажут!

Что расскажут, и сам не знал.

Андрусевич закусил желтый ус подковкой нижних зубов. Офицер, что ближе всех стоял, медленно поднял руки. Двое других вцепились в кобуры, но уж понятно было – опоздали.

Сашка шагнул вперед. Его лицо под заиндевелой ушанкой стянула, как на морозе, будто застылая, изо льда, выморочная, дикая ухмылка.

– Чей мотор?!

Лямин забежал глазами. Из-за угла высовывался зад громоздкого авто.

– Мой, – белыми губами нащупал слово самый молодой, самый бледный.

«Молодец, углядел. Люкин теперь тут командир?»

Взбросил глаза на Мерзлякова. Мерзлякова всегда слушались. Но, видать, теперь бешеный Люкин тут заправила.

От оскала Люкина плыл дух хорошего табака.

«Сволочь, где-то ведь украл пачку отменных папирос, а может, и сигары слямзил. И ховает. Товарищам – шиш».

– Садись в авто! Поедем!

Ближний офицер безумными глазами спросил: куда?

– Я мотор поведу, – Мерзляков выступил вперед. Постоял немного и, длинная живая слега, пошел прямо к черному, как мертвый жук-плавунец, авто.

«Железный сундук. Вместительный хоть, а все не уберемся».

Убрались. Мерзляков вел, Лямин рядом сидел, а худой Андрусевич потеснил троих, утрамбовал их на заднем сиденье. На всякий случай ствол револьвера в ухо врагу всунул. Люкин на колени офицеру нагло, потешно уселся.

– Вот как мы, эх, с ветерком, терпите, дряни!

– А куда едем, товарищ? – спросил Михаил.

Очень хотелось курить. А еще – спать.

«Как там наши цари-господа? Вот они уж точно спят. Спят, помолясь! А мы мотаемся. Ночь, город, вот пленных взяли. И кой черт их в Тобольск занес?»

– Оружие сдать! Быстро!

– Кому сдать?

Опять молодой голос подал. И старался, чтоб не дрожал.

– Да мне же! – Сашка трясся в мелком хохоте. Наган в его руке трясся тоже. – Живо!

Авто подпрыгивало на стылых ухабах. Офицеры расстегивали кобуры и клали на пол авто, под Сашкины сапоги, пистолеты и револьверы. Руки Мерзлякова крепче вцепились в руль, посинели.

– Эй, Сашка, слышь... – Лямин в одночасье охрип, будто колодезной воды наглotalся. – А чо с ними делать-то будем?

– А ничо, – весело и нагло ответил Люкин. – Гляди вот, чо.

Сидя на коленях у старого офицера, с морщинами у рта, с мешками под глазами, якобы неловко повернул торс и въехал локтем в глаз старику. Тот охнул. Глаз быстро заплывал лиловой темной кровью.

– Эй, отребье белое! Слухай сюда. Нам деньги нужны! Поняли – деньги! Вы нам – выкуп за себя достанете! Раздобудете три тыщи рублей – живы будете, отпустим! Не найдете – расстреляем к едрене матери! Все слышали?! Все?!

Офицеры молчали. Авто тряхануло крепко. Сашка развернулся и уже осознанно, зло засадил старику в скулу, с ближнего размаху.

– Не слышу! Все – слышали?!

Старый офицер утер кровь со рта. Она опять сочилась, текла из-под губы вниз, по гладко выбритому подбородку.

– Все. Слышали.

– Куда едем?

Молодой дрожал весь. Дрожал рот, дрожали белесые брови, дрожали пальцы, даже уши, как у связанного зверя, дрожали.

– К вдове Исадовой.

– Это где?

– На Покровской, ближе к Тоболу. Сейчас направо чуть забрать!

...Мерзляков подрулил к дому Лидии Исадовой. Офицеры шли впереди, под прицелом Сашкиного нагана; они все – сзади. Лямин в темноте не видел мраморных ступеней лестницы. Античных статуй, побитых пулями.

– Богато живет твоя вдовушка! – Сашка двинул промеж лопаток молодого. – Твоя любовница?

Молодой обернулся. Такого лица Лямин не видал еще за всю революцию и всю войну – ни у людей, ни у зверей, ни на картинках, ни в синематографе. Такого черного, дикого лица.

– Моя мать.

– Фью-у-у-у, – присвистнул Сашка и стволом нагана сдвинул ушанку набекрень, – неожиданный поворот событий, и миль пардону я прошу!

– Это я вас прошу. Можно, я к матери зайду один? Без вас.

– Вас, нас! Уехал в Арзамас! – заорал Люкин, играя наганом. – А я на мамашу посмотреть желаю! Ступай все, ребята!

Молодой дернул за веревку звонка, да они ждать не стали: Андрусевич налег всем телом, Люкин ногой выбил дверь. Она с грохотом и лязгом упала в коридор. За упавшей внутрь дверью стояла женщина со снежными косами корзиночкой вокруг головы, с таким же мелко дрожавшим, как у молодого офицера, лицом. На морщинистой шее светилась низка бус из речных жемчугов.

– Вольдемар... Кто эти люди?

– Мама. Ты только не волнуйся. С нами все будет хорошо. Ты только... У тебя тысяча рублей – есть?

Пока молодой говорил, седовласая женщина становилась белая лицом, как ее метельные волосы.

– Вольдемар... Откуда... Когда папу расстреляли, я все деньги... отправила в Харьков, тете Даше... ты же знаешь... помнишь...

– Я не помню!

Крик раздвинул стены коридора. Где-то далеко зазвенели часы. Лямин считал удары.

«Одиннадцать. Скоро полночь. Почему я не в Доме, со спящими царями? Не с ней рядом?»

Подумал о Марии и увидел ее. Постель; и она спит. Волосы на подушке. Рука сжата в кулак. Все глубже сон, и кулак разжимается.

...а о Пашке даже и не вспомнил.

– Сыночек мой...

– Мама! Посмотри, пожалуйста! В шкатулке! Сколько есть! Все отдай!

Молодому очень хотелось жить.

Белокосая старуха исчезла. Солдаты ждали. И офицеры ждали. Старуха вышла, в руках – купюры. Протянула Люкину, а взял Мерзляков. Не стал считать, сразу в карман куртки засунул. Угрюмое лицо чуть подовольнело.

– Негусто, – выдохнул Сашка.

– Уж сколько есть, – бормотнул Андрусевич.

– Скольки ни есть – все наши! – выкрикнул Сашка.

Старуха стояла навытяжку, как в строю. Безотрывно глядела на молодого офицера.

– Оставьте мне его, – беззвучно сказала, чуть тронув чернокожаный рукав Мерзлякова.

– Что выдумала, – весело подкинул и поймал обеими руками, как младенца, наган Люкин, – он пленный! Закон военного времени знаешь?

Старуха повернулась к ним ко всем спиной. И пошла по коридору. И открыла дверь. И за нею исчезла.

Молодой офицер стеклянными глазами смотрел ей вслед.

Он видел ее и за закрытой дверью.

...Они стучали в разные двери. Стучали – уже не выбивали. Ждали. Открывали испуганные люди. Кто всклокоченный, с постели прыг. Кто не спамши, при полном параде, – и в разных одеждах: кто во фраке, кто в потрепанном халатишке, кто в рясе, кто в салопе, кто в фар-

туке, только из-за плиты. Кто в залатанных отрепьях; кто в бывших бархатах и плисах. Кто в строгом пенсне. Кто в смешном, с лопастьями и кружевами, чепчике. Они объезжали всех родных, друзей и знакомых арестованной троицы, и все давали им деньги. Видели страшные, уже будто мертвые, лица трех офицеров – и давали. Кто сколько может. Много. Немного. Карманы куртки Мерзлякова непомерно раздулись. Люкин потирал ладони. Андрусевич свистел сквозь зубы модную песенку:

*– Цыпленок жареный,  
Цыпленок пареный  
Пошел по улицам гулять!  
Его поймали,  
Арестовали,  
Велели паспорт показать!  
Я не кадетский,  
Я не советский,  
Я не народный комиссар!  
Я не расстреливал,  
Я не допрашивал,  
Я только зернышки клевал!*

И лишь Лямин молчал. Молчал и изредка оглядывал офицеров.

Они едва не валились с ног. Им хотелось или спать, или скорей умереть.

...Вышли из очередного парадного. Тяжелая дверь едва не наподдала Лямину по заду. Еле отпрыгнул. Офицеры шли, под прицелом, впереди. Михаил замыкал шествие.

– Черта ли лысого, – раздраженно выдал Люкин, – устал! И все устали. А не развlechся ли нам наконец? Мы ж – развлекаться пошли!

– Развлеклись, – Мерзляков похлопал себя по отдутым карманам.

– И то. Спасибо этому дому, рванем к другому!

– А к какому?

Так же кучно, тесно завалились в авто. Рассаживались, крихтели. Молодой офицер смотрел в окно, плакал.

...Мерзляков сперва поколесил немного по ночным улицам, потом свернул и покатил по Лазаретной на окраину. Луи, схваченные слюдой ледка, хрупали под тугими колесами. Офицеры молчали, и они молчали. А что было говорить?

«Смерть чуют. Наша взяла».

Затормозил у кроваво-красной вывески: «ДОМЪ ЯБЛОНСКОЙ».

– Ага, – хохотнул Люкин и бросил вверх и поймал наган. – Знал, куда прикатить! Покупим, ребята! – Оглядел офицеров. Плюнул в них глазами. – Напоследок.

Вошли. Пелена дыма. На диванах – мужчины, женщины. Задранные на мятые брючины голые белые женские бедра, винные бутылки на столах и подоконниках. Мерзляков заказал водки. Принесли водку. Поставили перед солдатами. Уселись: кто в кресла, кто на кривоногие стулья. Офицеры стояли. Лямин спиной чувствовал их смятение.

...Внезапно все стало ровным, серым, гладким, – равнодушным. Равнодушно он думал о заловленных, как сомы в мережу, офицерах. Зачем они им? Доказать, что они умелые рыбаки? Или – поглумиться, помучить, замучить до смерти, их страхом наслаждаясь?

... – Пей, солдаты революции! – Сашка Люкин разлил водку по стаканам. В одной руке бутылка, в другой наган. Официант, горбясь хуже старика, на подносе притащил закуску: красную рыбу на битых, трещиноватых блюдах – семгу, севрюгу, – и какие-то странные дрожашие, как студень, куски. «С плавниками, тоже, видать, рыбаца. Уж больно жирна».

Андрусевич вцепился в кусок жирного чира и отправил его под жадные усы. Пока нес ко рту – кус мелко тряся, будто насмерть напуганный.

Люкин так и пил, и ел – с наганом в кулаке. Ствол искал груди, лица, лбы офицеров. Они понимали: побеги они – Люкин не сморгнет, выстрелит. Лямин шарил глазами по пышным грудям, торчащим из грязных кружев, по толстым и тонким ногам, – то в чулках и подвязках, то бесстыдно-нагие, они высывались из-под юбок, и длинных, по старинке, и коротких, по последней парижской моде.

Мерзляков опрокидывал рюмки, одну за другой. Один усидел бутылку; и еще заказал. Сашка подмигнул, кукольно раззявил рот.

– А рыбка-от у них ничо! Пойдет!

Мерзляков открывал новую бутылку. Рассматривал этикетку.

– А интересно, другие живые рыбки у них как? Вкусненькие? Ты пробовал?

Локтем в бок Мерзлякову как двинет!

И тут Мерзляков вскинул глаза и на Сашку Люкина – глянул.

Все замерзло внутри Лямина. Затянулось мгновенным, адским льдом.

«Зима вернулась. Зима».

Глаза Мерзлякова очумело прожигали в Сашке две черных дымящихся дырки.

Михаил испугался. «Сейчас воспламенится. Обуглится!»

Мерзляков перевел глаза на диван. Там целовалась парочка. Чмокали и чавкали, будто съедали друг друга.

«Поросята у корыта. Свины».

Перевел взгляд на обои. Рассматривал рисунок.

Лямин тоже рассмотрел. Они близко от стены сидели. Летели ангелы, и в руках у каждого – труба. Трубящие ангелы. В небе, в кучерявых облаках.

«Такие облака у нас в жару... в Жигулях...»

– Умрем... Умрем. Умре-о-о-ом!

Мерзляков сначала выщептал это. Потом голос набирал силу. Возглашал, как поп с амвона.

– Умре-о-о-о-о-ом! Все умрем. Все-е-е-е-е!

– Эй, слышь, друг, – Лямин протянул к Мерзлякову руку. – что это ты завелся? Запыхтел, как старый самовар! Слышь, давай-ка это, кончай...

– Умрем. Умрем! Умрем!

Выбросил руку в сторону стоящих молча офицеров.

– И они – умрут! Умру-у-у-у-ут!

Скрежетал зубами. Еще водки в стакан плеснул. Еще – выпил.

– И я – их – убью. Убью! Убью-у-у-у-у!

Встал. И Люкин встал.

Мерзляков к двери пошел. И даже не шатался. Люкин поднял наган и надсадно взвопил:

– Вперед! Ножками перебирай! Ножками!

Спустились вниз. Офицерики впереди. Красноармейцы сзади, сычами глядели. Губы Мерзлякова тряпично тряслись. Чтобы усмирить губы и зубы, Мерзляков вытащил из кармана чинарик, злобно и крепко закусил желтыми резцами.

– Эх, жалко с бабенками мы не...

Мерзляков посмотрел на Андрусевича так, будто тот уже срамной болезнью захворал. Ствол нагана стал искать Андрусевичеву спину.

– Ну ты, ты, шуткую я... понять надо...

...Опять набились в авто. Плотно, крепко, гадко прижимались. Мотор тархтел, мелькали снега, черные, осеребренные солью инея стволы, дома – то слепые и мрачные, то со зрячими горящими глазницами.

Ехали долго. Лямин зевнул, как зверь – рот ладонью не прикрыл. Рядом с ним сидел тот молодой, что у матери деньги брал. Под толстым шинельным сукном Лямин чуял – последним пожаром горит худощавое собачье тело молодого. «Не хочет умирать. И все же умрет. Это смерть. Смерть! Всюду смерть. А я что, дурак, только что это понял?»

Мотор заурчал, встал. Мерзляков крикнул визгливо, по-бабьи:

– Вылазь!

Все вылезли. Вывалились на снег, живая грязная картошка из железного мешка.

Офицеры сгрудились. Сбились близко друг к другу. Одно существо, шесть рук, шесть ног.

– Шинельки скидавай, мразь! – так же отчаянно, высоко выкрикнул Мерзляков.

Сашка Люкин тихо, утешно добавил:

– Да не медли, гады. Ведь все одно съедем.

Офицеры стаскивали шинели. Швыряли на снег. Дольше всех возился молодой. Ежился в гимнастерке. Слишком светлые, волчьи глаза; слишком бледные, в голубизну, щеки.

«Да он уже мертвец. Краше в гроб кладут. Гроб? Какие тут у них будут гробы? Да никакие. Жахнем по ним – и все. Поминай как звали. Вороны расклюют. Зимние птицы. Собаки, волки по косточке растащат».

– Что ковыряешься, мать твою за ногу! Минуту хочешь выкроить лишнюю?!

Мерзляков пучил глаза, становясь похожим на лягушку в пруду. Глаза молодого совсем побелели. Белые, ледяные, ясные, загляни – и на дне звезды увидишь. Как днем в колодце.

– Нет. Не хочу.

Голос у молодого оказался на удивление тверд и крепок.

Мерзляков оглянулся на товарищей.

– Что стоите дубами?! Револьверы вытащить не можете?! Или этих... жалко стало?!

Изругался. Люкин подхватил ругань, как песню.

– В бога-душу! Ядрить твою! – Выхватил наган из кобуры. – Глаза вам не завяжем! Вы – нам – не завязывали! Белая кость, холера...

Мерзляков наставил наган на старого офицера:

– Бери шинели, неси в мотор!

Старик наклонился. Уцепил шинели обхватом сильных рук. Под мундиром перекатывались камни мышц. Лямин смотрел ему в сутулую спину. Под мундиром двигались лопатки. Раз-два, раз-два, будто у заводной куклы. Четко и ритмично.

Мерзляков пошел за ним. В лунном свете черными рыбами на белизне снега плыли следы. Теперь в спину Мерзлякова смотрел Лямин. Они оба, белый и красный, подошли к авто. Старик раскрыл дверцу и кинул внутрь авто шинели. Обернулся к Мерзлякову. Плюнул ему в лицо. Мерзляков крикнул невнятно, как сквозь кашу во рту. Выстрелил раз, другой. Старик упал с простреленной головой. Ветер вил жидкие волосенки.

Мерзляков вернулся к офицерам. Андруевич хихикал и сворачивал цигару.

– Хе, хе... Так все просто... Р-раз – и квас...

Мерзляков опять, как давеча в борделе, заблеял козой:

– Все умре-о-ом... Все-е-е-е! Умре-о-о-о-ом...

– Умрем... умрем... – растерянным эхом отозвался, из-за махорочного дыма, Андруевич.

Беляк, еще живой, глядел бешено, светло.

Щелкнул выстрел. Офицер упал. Сразу не умер. Крючил пальцы, царапал наст. Грудная клетка раздувалась, ловила последний воздух.

«Черт, как же это тяжело. И это – нас всех ждет?!»

«В любой момент, дурень. В любой!»

– Все равно... Россия... Рос... – выхрипнул офицер, и все его тело пошло мученической волной, одной последней судорогой. Руки обмякли. Пальцы больше не царапали снег, под ногти не набивался лед.

Мерзляков повернул красную на морозе рожу к молодому.

– Ты! Иди.

Подтолкнул его стволом нагана меж лопаток. Лямин глядел – и хорошо было видать под луной, – как мокнет, пропитывается предсмертным потом светлая застиранная гимнастерка молодого – под мышками и под лопатками.

«И мороз нипочем. А может, и там весь сырой, между ног. Страх, он...»

Молодой, Мерзляков и все они дотопали до мотора. Дверца был открыта.

– Ныряй, дерьмо!

Молодой глядел белыми глазами выше глаз Мерзлякова, в лоб ему.

Будто лоб – глазами – простреливал.

Нагнулся, на сиденье уселся.

Мерзляков дико захохотал.

– Да нет! Не сюда! Осел! Много чести! Сюда!

Ногу поднял и резко, сильно двинул ногой молодому в бок. Молодой охнул и сполз на пол авто. Держался за спинку сиденья. Мерзляков в другой раз махнул ногой и сапогом, каблуком ладонь молодому расквасил. А потом ногой – в лицо ему ударил. Глаз тут же заплыл. Молодой уже под сиденьем лежал. Мерзляков за руль усаживался. Щерился.

– Что стоите?! Валяйте! Садитесь!

Сгорбившись, угнездились в авто. Молодой лежал под ногами у Мерзлякова. Мерзляков время от времени бил его ногой куда придется. По скуле. По глазу. По уху. По груди. Бил и молчал. Молчал и бил. Крепко вцепился в руль. Мотор чихал и кашлял, но ехал быстро, подпрыгивая на снежных слежалых комьях.

Андрусевич выбросил в окно окурочек. Люкин брезгливо кривил рот.

– Што за дрянь куришь! У меня вот... доедем, угощу...

Лямин смотрел, как снова поднимается нога Мерзлякова в кованом сапоге.

Почему ему так хотелось завопить: «Хватит!» Он никогда не был сердобольным. И благородный офицер – это был злейший классовый враг. Тогда почему он хотел сам двинуть сапогом Мерзлякову в острое, согнутое кочергой колено?

«Я бабой становлюсь. Мне в армии – нельзя».

– Эй, мужики, у кого-нибудь пить есть?

– Выпить – есть. На.

Люкин полез в карман шинели и вытащил странную, всю в узорах, флягу.

– Экая вещица.

– Да ты хлебай. Это я из борделя утащил. Со стола прихватил. Очумеешь, как хорошо!

Михаил цепко сжал флягу. Отвинтил пробку. Прижал к губам. Будто с флягой взасос целовался.

– Эй, ты! Будя! Пусти козла в капусту...

Андрусевич с любопытством глядел на сапог Мерзлякова. Сапог уже отсвечивал влажным, красным. Молодой дышал тяжело, и в груди у него булькало.

Мерзляков ударил особенно крепко и мирно, себя успокаивая, сказал:

– Отдохни.

– Што-то ребята говорили, – Андрусевич опять нервными пальцами сигарку крутил, – Совнарком хотел семейку перевезти в другой город.

Руки Мерзлякова мяли руль.

Пахло соленым.

Сопел и стонал молодой.

«Ковер, – смутно и страшно подумал Лямин, – живой ковер у Мерзлякова под ногами».

– И что? Приказ вышел?

– Нет никакого еще приказа.

– Значится, болтовня.

– Ничо не болтовня.

– А в какой город?

Мотор подскакивал на ухабах, медленно объезжал городские тумбы с расклеенными афишами.

– Да в Москву, думаю так.

– Думай, гусь индийский.

– Так ведь судилище развернуть хотят! Над палачами! Штоб на всю страну – прогремел суд! И все про их козни узнали.

– А что, может, оно и правильно.

Опять нога поднялась. Размахнулась. Каблук попал по ребру. Лямин явственно услышал хруст.

Молодой простонал особо долго, длинно, захрипел и замолк.

– Черт, – Мерзляков шевельнул носком сапога его за подбородок, – черт! Я его, кажись, утрямкал.

– Так вывали его к едрене матери!

– Погодь. Еще... отъедем...

«Где мы, непонятно. Это не Тобольск. Это иной город. Иное место. Дома странные. Страшные. А может, это и не на земле уже».

Дома вытягивались, превращались в тела длинных ящериц. Из подвальных окон ползли черные блестящие змеи, вставали на хвосты, разевали беззубые пасти. Вереницы черных слепых кротов медленно текли по снегу, огибая стволы лиственниц. Из-под фонарей сыпались, вместо света, золотые и медные черви; падая на землю, они оживали и ползли, ползли. И умирали, застывая на снегу медными жесткими крюками. Оконные створки распахивались с диким грохотом, и, перевешиваясь через подоконники, наземь валились туши медведей, шкуры волков, трупы лисиц, а между ними летели и падали люди и дети. Они падали на снег и растекались по снегу широкими, как плот на Иртыше, красными пятнами. Пятна соединялись в реку, и вот все они уже стояли по щиколотку, а вскоре и по колено в красной теплой реке. Из потока высовывали морды громадные рыбы. Рыбьи глаза обращались в человечьи; рыбьи жабры – в бледные, синие, алые щеки. Глаза вращались в орбитах и вылезали вон из них. И падали на снег, и катились по снегу живым безумным жемчугом. Жемчуг белый, красный, черный. Царские драгоценности. Страшно много денег стоят.

Лямин и глаза отвести от стекла не мог, и не мог уже смотреть. Чудовища наваливались, авто катилось прямо под брюхо каменного слона. Слон поднял ногу, его нога разломилась, разделась на длинные деревянные жерди, и каждая жердь загорелась, затлела, и быстро, нагло огонь взбирался вверх, к дрожащему слоновьему животу, к серебряным шашкам – лихо загнутым бивням. Бивни отломались, язык слона вывалился; превратился в красный флаг. Обезьяна подбежала, вцепилась, резко и грубо вырвала язык, размахивала красной тряпкой. Множество обезьян за ее мохнатой спиной, за красным голым задом, орали и верещали. Они вопили человеческими голосами. И человеческими словами. Лямин даже слова различал. Но, слыша, тут же забывал, чтобы окончательно не сойти с ума.

– Все! Стоп! Тут!

Мерзляков сам себе скомандовал. Мотор встал. Молодой офицер под сапогами Мерзлякова не шевелился.

– Притворяется. Ты! Давай на снежок!

Ногой Мерзляков выкатил молодого из авто. Молодой лежал бездвижно.

– Выходь! Давай, братишки, в него каждый по одной пуле всадит! Боле не надоть, а то жалко!

Андрусевич стоял над телом офицера, качался.

«И когда успел надраться? Тоже из фляжки люкинской? Гляди, ополовинил...»

– Мне и одной жалко! – тонко крикнул Люкин. – Може, так его тут бросим! Да и укатим! А?! Все одно околеет!

Мерзляков пощелкал пальцами, будто танцуя испанский танец.

– Да, мороз, – согласился.

Лямин молчал.

«Ерунда какая, эти офицеры. Наскочили на нас. Бордель этот. Дома эти, со змеями. Зато у нас теперь мотор и шинельки новехонькие. Теплые. На меху. А слон? Где слон?»

Михаил озирался в поисках слона. Молодой на снегу пошевелился. Ему горло разодрал тягучий стон, больше похожий на сдавленный вопль.

– Я-а-а-а!.. не хочу... Не! Хочу!

«Умирать», – догадался Лямин.

«Так из нас никто не хочет. Никто! А ведь вот умираем! Ни за понюх табаку!»

Далекие дома придвигались, наплывали. Земля под ногами плыла, вертелась. Снег раскатывался прогорклым тестом. Вяз на зубах. На них всех вместо одежды были рваные красные знамена. Знаменами обкручены они были, с ног до головы.

– Где я?!

«Это не мой крик. Это кто-то другой кричит».

Мерзляков подло усмехнулся, послюнил пальцы, будто хотел самокрутку свернуть.

– А-ха-ха, – выщедил, – живехонек. Ну тогда вставай! Офицер должен и смертушку – стоя принимать! Тебя ведь так учили?! Да?!

Молодой лежал на животе. Мерзляков ногой перевернул его на спину. Белые глаза молодого глядели в ночной звездный зенит.

– Хо... лодно...

– Встать!

– Не хо...

– Ты еще пощады попроси! Трус!

У молодого все тело под гимнастеркой мелко задрожало.

– Я... трус?..

Встал. Сначала на четвереньки. Поднатужился. Приподнял зад. Мерзляков беззвучно хохотал, наблюдая, как молодой силится подняться со снега.

– Давай-давай! Сначала задок! Гляди не обделайся! Потом башку вздерни! Собака! Залай еще! Затяжкой! Сучонок вонючий!

Молодого корежило, но он встал. Ногами вцепился в землю, как рак клешнями – в добычу. Широко расставил ноги. Шатался. Руками морозный жесткий воздух цапал.

«Как моряк на палубе».

Мерзляков обвел глазами солдат.

– Ну так что же вы, так вашу этак?! Всем патронов жаль?! Бейте ногами!

И сам опять сапог занес, чтобы обрушить всю тяжесть тела: на череп, на печень, куда угодно.

Лямин выхватил наган и быстро, как на охоте, выстрелил. Почти навскидку. Гимнастерка молодого быстро пропитывалась красным. Красная кожа, красные сапоги, красные ладони. Красная звезда. Звезда – это ладонь. Растопыренные пальцы.

– Метко! – Мерзляков ржал конем. – Так я и знал! Мишка в грязь лицом – ни-ни! Молодчага!

Со всего размаху ударил Лямина кулаком по плечу: так хвалил.

И Лямин, сам не зная, как это вышло у него, направил наган – на Мерзлякова. Глядел в его круглые железные, без ресниц, глаза.

– Но, ты... Ты-ты... Эй, эй! Опустит. Опустит оружие, твою мать!

Молодой лежал смиренно, грудь прострелена, белые глаза заволокло соленой слезой, – умер.

– Ты! Мишка! Кончай баловать!

«Я пьян. И я не на земле. Не на земле. Я там, где люди убивают людей. Отсюда на землю хода нет».

Лямин шагнул к Мерзлякову и упер ствол нагана ему в кожаную скрипучую грудь. Будто проколоть его наганом хотел, как ножом.

– Я не балую. Я не конь.

Лицо Лямина начало мелко подрагивать. Пошло вспышками. Изрезалось мгновенными морщинами. Зубы били чечетку. Глаза плясали. Красный язык мотался меж зубами, вываливался наружу.

– А вот ты не человек. Слышишь. Ты не человек. Не знаю, как тебя зовут.

Закричал надсадно:

– Чудище! Ты! Да зубов нет! Зубы – повыпали!

Уже за руки его хватили Андрусевич и Люкин.

– Ты, брат, этово... промерз, што ли, и занемог... Бредишь...

– Держи его крепче, револьвер у него отыми... половчей...

Люкин просунул руку под локоть Михаилу и вырвал у него из кулака наган. Неловко нажал на гашетку, и на морозе выстрел не грохнул, а странно, жестко и сухо клацнул, пуля ушла вверх и вбок. Лямин пытался вырваться. Бойцы держали крепко. Дышали табаком.

– Ты меня зачем пугаешь? – близко придвинув плоское жестяное лицо к лицу Михаила, прошипел Мерзляков. – Я тебе так плох стал? А может, ты и царьков освободить желаешь? Первый к стенке встанешь. Что к стенке! Я тебя – на пустыре изрешечу! Да хоть здесь! На этом взгорке!

Лямин, лоя ртом синий густой мороз, покосился. Почва шевелилась, как оживший мертвец, съезжала. Внизу, далеко под ними, мерцал Тобол, лед прочерчивали стрелы санных следов. Еще дальше, в сизой дымке, расстилался закованный в доспехи льда Иртыш, и совсем уже на краю земли лед и снег сливались с небом; и снег светился черно-синим трауром, а небо вспыхивало алмазной колкой радостью.

Лямин дышал громко, запаленно.

– Ты... слышь... Мерзляк... прости... я сам не свой...

– Недопил! – заржал Люкин и подмигнул.

– Эй, ребята, а кто слышал такого товарища – Троцкий ему фамилие?

– И где он? В Москве?

– В Москве, где ж еще.

– Все из Москвы! Все – в Москву! А мы тут, на Тоболе, отрезанный ломоть! У черта на рогах! С этими дурнями, царями, валандаемся! Скорей бы уж...

– Что – скорей?

– Да ничо...

– Столкнуть гада под крутояр?

– Это можно.

– По весне отгаит – раки выползут, съедят!

– Нет, а кто ж такой все же Троцкай?

– А ты думаешь, кто он такой?

– Ничо я не думаю.

– Нет, думаешь!

- Балакают, он поважнее Ленина будет.
- Ха! Важнее Ленина нет никого! Ленин – наш царь!
- Типун тебе. Еще раз это слово выдавишь... Какой Ленин царь! Ленин – красный!

Он – наш!

- Наш, наш.
- А Троцкай – тоже наш?
- Отзынь со своим Троцким!
- Ух, эх, ухнем, еще разик, еще раз...

Пыхтя, перебраниваясь, бойцы подкатали ногами труп молодого к обрыву, пнули дружно, сильно, и скинули вниз. Глядели, как убитый катился, налепляя на себя снег, обматываясь белыми липкими бинтами. Лямин глядел и видел: не убитый офицер катится, а мерзлая гигантская рыба; вот рыба докатилась донизу, к подножью снежного увала, бронзовое ее брюхо лопнуло, а может, его разрезал острый стальной ветер, и из рыбьего рваного живота на снег покатались маленькие, мелкие рыбки, рыбки детки. Мелкие, как монетки: гривенники, алтыны, пятаки, копейки, полтинники. Деньги, деньги, ими же за все плачено. За кровь и слезы. За пот и ужас. И за царство-государство – тоже.

«А кто кому – за нашу революцию – заплатил? И – сколько?»

Стояли на юру. Глядели не на труп внизу – на две реки, что сливались в морозном тумане и дальше воедино текли.

- Двигаем в мотор, товарищи.
- Ой, а я ногу отморозил! – закричал Сашка Люкин.

И запрыгал на одной ноге.

– Слышь, кончай придуряться. Мы тя в клоуны отдадим! В самую Москву! В цирк! Вот уж там на всяких Троцких полюбуешься!

Лямин шел за Мерзляковым, след в след. Снегу густо намело. Как звезд в зените; не продохнешь. Метель звездная, и глотку забивает. И глаза слепит. Скорей бы в авто. Там тепло, нагрето.

Колени у Лямина подгибались. Он чувствовал, его ведут под руку. Как бабу на сносях. Чувствовал свое бессилие; но почему-то это ему было приятно. Как ребенку, больному, в жару, удовольствие, если ему в постель несут блинчик, чаек горячий, а то и петушка леденцового, полакомиться.

Мотор урчал. Лямин дремал. Мерзляков вел авто уже спокойно, руль не выворачивал. Змеи расползлись, кроты нырнули под землю. Рыбки дети, мелкие деньги, рассовались по карманам. Завтра можно купить выпить-закусить. Цари вон раньше пили и закусывали, и – ничего. Хорошо жили цари, вольготно. За это и платят теперь. Каждый всем – всегда – за все – платит. А Троцкий? Что Троцкий? Никто про него ничего не знает. Говорят, он еврей. Да какая разница. Нет евреев, нет русских, нет татар и вотяков. Есть народ. Вот Мерзляков – народ. Люкин – народ. Андрусевич – народ. И он, Лямин, тоже народ. А Ленин, он кто? Народ или нет? Ленин, это надо скумекать. Ленин, да он же самый что ни на есть народ. Как же не народ, когда он – за народ! Вот народ при нем и стал народом, и сошвырнул с холки своей господ. Теперь мы, народ, всем распорядимся. Всем и всеми. И пусть только попробуют нам, народу, палки в колеса вставить. Мы и палки изломаем, и колеса погнем. И под те колеса тех, кто не народ, положим. И проедемся по ним. Раздавим. Перережем. Переедем. Надвое рассечем. И они, враги, предатели, гады, господа, станут нашим мясом. Нашим тестом. Нашим хлебом. Нашим углем. Нашим маслом. Нашей нефтью. Нашей грязной дорогой. Нашей землей. Лягут нам под телеги, под моторы, под ноги. Под сапоги. Под босые пятки.

## Глава третья

*«От вокзала, навстречу мне, промчался бешеный автомобиль и в нем, среди кучи товарищей, совершенно бешеный студент с винтовкой в руках: весь полет, расширенные глаза дико воззрились вперед, худ смертельно, черты лица до неправдоподобности тонки, остры, за плечами треплются концы красного башлыка... Вообще, студентов видишь нередко: спешит куда-то, весь растерзан, в грязной ночной рубахе под старой распахнувшейся шинелью, на лохматой голове слинявший картуз, на ногах сбитые баишаки, на плече висит вниз дулом винтовка на веревке... Впрочем, черт его знает – студент ли он на самом деле.*

*Да хорошо и все прочее. Случается, что, например, выходит из ворот бывшей Крымской гостиницы (против Чрезвычайки) отряд солдат, а по мосту идут женщины: тогда весь отряд вдруг останавливается – и с хохотом мочится, оборотятся к ним. А этот громадный плакат на Чрезвычайке? Нарисованы ступени, на верхней – трон, от трона текут потоки крови. Подпись:*

*Мы кровью народной залитые троны  
Кровью наших врагов обагрим!*

*А на площади, возле Думы, еще и до сих пор бьют в глаза проклятым красным цветом первомайские трибуны. А дальше высится нечто непостижимое по своей гнусности, загадочности и сложности, – нечто сбитое из досок, очевидно, по какому-то футуристическому рисунку и всячески размалеванное, целый дом какой-то, суживающийся сверху, с какими-то сквозными воротами. А по Дерибасовской опять плакаты: два рабочих крутят пресс, а под прессом лежит раздавленный буржуй, изо рта которого и из зада лентами лезут золотые монеты. А толпа? Какая, прежде всего, грязь! Сколько старых, донельзя запакощенных солдатских шинелей, сколько порыжевших обмоток на ногах и сальных картузов, которыми точно улицу подметали, на вишивых головах! И какой ужас берет, как подумаешь, сколько теперь народу ходит в одежде, содранной с убитых, с трупов!*

*...Часовые сидят у входов реквизируемых домов в креслах в самых изломанных позах. Иногда сидит просто босяк, на поясе браунинг, с одного боку висит немецкий тесак, с другого кинжал».*

*Иван Бунин. «Окаянные дни». 1919 год*

Они и тут, в Доме Свободы, жили так, как жили всегда.

А всегда они жили так: любили друг друга и заботились друг о друге.

Что такое любовь, они знали точно: это – приказать испечь к вечеру пирог, нынче Оличка именинница; вышить гладью подушечку-думку для мама; склеить для папа бумажный кораблик; перевязать ушибленный палец Бэби; записать в дневник о том, как прошла охота и сколько зверей и птиц в лесу было убито, и чаще всего счет шел на сотни, – сотни оленей, сотни кабанов, сотни косулей, глухарей, барсуков, тетеревов, медведей, волков и лисиц, – а потом, еще чернила не высохли, когда писалось о бесчисленных звериных смертях, приписать, быстро и нервно и восторженно: «Милая моя женушка, до чего же я люблю тебя!»

Любовь – это была молитва утренняя, лишь с постели прыг, еще наливалась холодная вода в ванну, еще горничные тащили чистые, хрустящие полотенца, а они вставали к иконам в ночных рубахах и молились – с любовью, в любви и за любовь; и молитва вечерняя, когда отходили ко сну, и важно было в этой сонной, расслабленной, уже теплой, как теплый, нагретый сковородками с пылающими углями матрац, нежной молитве произнести имена всех, кого

любишь, и попросить у Господа им всем – невероятного, вечного, невысказанного и несомненного счастья.

Они жили в помощи и любви, во всечасном врачевании друг друга, и плевать было на то, что в двадцати верстах от их дворца умирают от голода дети, а в ста верстах – взорвали вокзал на железной дороге, а в пяти тысячах верст поднялись на восстание заводские угрюмые люди, – царь сам подписал указ, чтобы зачинщиков расстреляли, кто же виноват, что они такие неразумные: им выдают заработанные рубли, их детям наряжают господские елки, они, как и мы, ходят молиться в теплую, золотую, медовую, ароматную церковь, – чем не жизнь! Разве против такой жизни восстают!

А им со всех сторон говорили: милые, надо уврачевать народ; дорогие, надо полюбить бедняков; чудесные, солнечные, изящные, – оглянитесь, опомнитесь, надо помочь тем, кому плохо, гадко, страшно!

А они отвечали: разве мы не помогаем всем, разве мы не молимся за всех? Святая обязанность царей – за всех, за каждого молиться!

И им – верили.

И они верили сами себе.

И, веря, блестили полными счастливых слез глазами; надевали друг на друга бальные платья, как парчовые церковные ризы; танцевали, будто осыпали подарками бедноту; украшали друг друга, чтобы идти к обедне, алмазами и рубинами, жемчугами и серебром, аквамаринами и перламутром, – они сами, все, каждый из них, были живыми молитвами и еще живыми святыми мощами; они звучали, плакали радостно, текли горячим елеем, благоухали и драгоценно переливались в свете свечей, и они – молились, и на них – молились; а если их и проклинали, это было, конечно же, недоразумение: молитва ведь настоящая, истиннее молитвы нет ничего в целом свете. Молитва искупает все и врачует все раны. Молитва пребыла при рождении, пребудет при смерти и останется реять в небесах и по смерти; значит, они делают все верно, они остаются верны себе и Богу своему.

Вот что главное.

...а то, что с одной стороны – красные, с другой – белые, какая разница? Где между ними отличие, какое? И те бьются за счастье, и другие – за счастье. И те безжалостны, и другие – казнят. У белых льется красная кровь, у красных белеют на морозе от смертного ужаса лица. Везде одно золото, и один жемчуг, и один навоз, и одна парча, и один огонь из пулемета. И наказание за преступление будет одно: другого уж точно не будет.

И восстанет род на род, и царство на царство, так и в Писании сказано, а разве против Писания кто пойдет?

А будут ли опять, вернуться ли цари, если им, вот им, ныне живущим, суждено лечь под пули, лечь в землю? Кого посадит на трон эта громадная, лютая, святая земля?

А может, она вовсе и не святая, Ники?

...о Аликс, не гневи Господа. Перекрестись. Помолись. О чем ты говоришь. Молись за Россию. Молись за всех нас. Распятому – молись: Он и на Кресте висел, от боли корчился, а – за разбойников молился. Нынче же будешь со Мною в Раю, так он сказал разбойнику, висевшему на кресте праворучь. Может, они все, красные комиссары, эти солдаты недокормленные, злые, эти командиры, что кроют нас шепотком казарменным матом, все-таки – когда-нибудь – не сейчас – далеко впереди – там – в тумане диких лет, в тучах и снегах иных веков – будут – с нами – в Раю?

\* \* \*

Главного – боялись. Главного – уважали.

Михаил частенько раздумывал над тем, как устроен человеческий пчельник. В пчельнике главная – матка; в человеческом улье, большом или малом, всегда должен кто-то главным быть.

«Кто-то хочет быть царем... Кто-то... мокнет... под дождем...»

Иногда слова в голове Лямина сами начинали складываться в стройные звонкие ряды. И из того ряда нельзя было выкинуть слово; выбросишь – а оно опять лезет. Хотелось эти слова спеть. Однажды он взял и запел. На него Матвеев оглянулся – они вброд речушку лесную переходили. Лямин! Петь – отставить! Под ноги гляди, в иле завязнешь! Есть отставить петь, товарищ командир.

Замолк, а песня внутри звучала. Потом утихла, утухла.

Главных бывает много. И тот главный, и этот главный. Вот над ними Петр Матвеев. А вот рядом – комиссар Панкратов. А над ними – Тобольский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. А над Тобольским Советом – кровавый, бешеный Урал. А над всем Уралом и Сибирью – Московская ЧК. Яков Свердлов, он тоже главный. А над Свердловым – Ленин, оно и корове понятно. А над Лениным кто? Кто – над Лениным?

«Значит, Ленин и есть теперешний наш царь. На время? Насовсем?»

...Михаил развешивал на веревке стиранные портянки – Пашка постирала, – а в подсобку всунулась встрепанная голова Сашки Люкина. Сашка вроде навеселе: белки блестят, скулы розовеют, языком плетет.

– Э-эй, Миня! Кончай хозяйствовать. Главный тя к сабе требует!

Михаил поправил на веревке портянку.

– И что?

– Не што, а дуй! Вид у него грозный!

– Я ни в чем не провинился.

– Энто ему будешь объяснять!

Лямин продел голые ноги в сырые сапоги, передернулся от холода и пошел вслед за Люкиным. Затянутое иглисто-серой, перламутровой паутиной мороза окно слепо глядело ему в спину.

...На двери главного висела медная табличка: «КВАРТИРА ПЕТРА МАТВЕЕВИЧА ТОВАРИЩА МАТВЕЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЛДАТСКАГО КОМИТЕТА». Солдаты над той табличкой смеялись. У какого гравера заказывал? Много ли заплатил? И чем – керенками или золотыми слитками?

– Боец Лямин!

– Так точно, товарищ командир!

– Поедешь со мной в Петроград?

– В Петроград? – Лямин изумился. – Товарищ...

– Да мне одному негоже ехать. Без охраны.

Лямин испуганно глядел на бывшего царского фельдфебеля, потом на носки своих нечищенных сапог.

– Это меня... охранять?

– Тебя, тебя.

Михаил стоял, выше Матвеева ростом. Внизу перед ним нервничал, переминался с ноги на ногу маленький серенький человек, с виду вовсе и не главный, а так, мелкая сошка. Ледащий, без фуражки ясно видна на темени жалкая лысинка. Нос потно блестит. Крошечные свинячьи глазенки бегают быстро, соображают. Мишка поймал глазами глаза Матвеева. Свинячьи глазки отчетливо сказали ему: «Соглашайся, неохота мне других попугачиков в отряде искать».

– Да я...

– Да ты, да ты. Это приказ!

– Да мы до Петрограда знаете сколько будем ползти?

– Поезд идет себе и идет. А ты едешь. Разговоры! – Щучье личико побелело. – Отставить!

Лямин подобрался, втянул и без того тощий живот. Матвеев глядел на медную пряжку ремня.

– Возьмите с собою лучше Александра, – сглотнул, – Люкина. Люкин – бойкий. Он, в случае чего, отобьется. Отстреляется.

– А ты стрелять не умеешь? Руки не тем винтом ввинчены?

Мишка крепко прижал руки к бокам, вытянул их вдоль туловища. Бодро выгнул спину.

– Умею, товарищ командир!

Матвеев медленно, как тяжелый крейсер вокруг пустынного острова, обошел вокруг Лямина.

– Люкина, говоришь?

– Так точно!

– Отказываешься, стало быть?

Мишка разозлился.

– А вы что, меня хлопнете за отказ?

Сдержил – и зажмурился: что наделал! Внутри мальками, заплывшими в мелкочаеистую сеть, билась смутная мысль о Пашке Бочаровой. О царской дочке не думалось. Или ему так казалось.

Матвеев внезапно рассмеялся. Громко и сердечно. Крепко хохотал, аж слезы на глазах выступили; и глаза – кулаками вытирал.

– Да не хлопну! Ишь... хлопнете! Ты муха, что ли! Боец Лямин! Ишь, смелый! Зазноба у тебя, здесь! Знаю!

Лямин голову опустил. Шарил глазами по натоптанным половицам.

«А Пашка скоро придет к нему с ведром и тряпкой. Полы мыть».

– Да ведь не только вы знаете.

– Весь отряд знает! Боишься, что она тут без тебя под кого другого ляжет? А?!

Лямин головы не поднимал. Уши покраснели, он чувал стыдный жар.

– Ничего я не боюсь. А только не поеду.

– Ступай. – Петр Матвеев махнул рукой, как муху отгонял. – Люкина – покличь!

– Слушаюсь, товарищ командир.

...В Петроград, к Ленину и Свердлову, отправились, вместе с Матвеевым, Сашка Люкин и молодой боец Глеб Завьялов. В отряде шутили: святая троица перед вождями предстанет! Думали – надолго отлучатся, а вернулись на удивление скоро. «Пять минут, што ли, вас Ленин-то принимал?! Али вместо поезда – на пушечном ядре прилетели?! А какой он, Ленин, лысый? С усами? Али бреется? А Свердлов – што он? Што нацет царей-то они баяли? Долгонько мы тут за ними будем ходить? Мы не тюремщики! А нас тюремщиками заделали!»

Люкин сбросил грязную одежку. Растопили баню. Матвеев и солдаты помылись. Им поднесли косушку. Сашка сидел на кровати, расставив ноги, с голой грудью, размахивал пустым стаканом, рассказывал.

– Тряслися мы долго. Аж кости все заныли. А поезд такой, там народу, што сельдей в бочке! Все друг на друге сидят, едят и спят. Ну чо ржешь, Игнатка?!.. друг на друге, оно так и было. Утомилися шибко! И запасы закончились.

– А чо, у баб в вагоне горбушку отымали?

– Язви их, энтих баб! Ну, бывало, и прижимали какую бабу...

– Прижимали? Ах-ха-ха! Поживились, выходит!

– Да дай ты рассказать. Мы-то тут вот сидим, и што? Думам: никаких большаков в Питере нет! Нам што комиссар Панкратов втолковывал? Што большаков из Петрограда давным-давно выгнали в шею! А кто выгнал? Непонятно. И мы – верим! А верить-то нынче никому нельзя!

– Чо ж значит, Панкратов – предатель?

– Тише ты! – Люкин на дверь покосился. Потер кулаком голую грудь. Поежился. – Опосля баньки-то разымчиво сперва было, а теперь – охолодал! Вон он, морозец-то. – Кивнул на окно, сплошь обложенное слоями льда и инея – даже двора не различить было в инистых наплывах. – Панкратов – не предатель, а такой же человек, как мы все! Поверил. Вот ты бы што, не поверил, если б тебе сообщили – Ленина убили?

– Эх ты, как это так... Ну, поверил бы! А потом – опять же не поверил!

– А поверил бы, ежели б бумаги прибыли?

– Ну, бумаги... Тут бы – да...

– Или по телеграфу бы тебе отбили?!

– Да ну, ты, Гришка, не мешай, пушай Санька дале свое вранье плетет...

– Мы когда узнали, што Временное правительство скинули? Верно, в октябре. А потом – кто во што горазд! Мы тут, в Сибири, вдаль от энтих столиц... бог знает што себе навывдумывали... Прав Матвеев, што нас под мышку собрал да туда повез!

– Ну ты, ты скорей про Петроград давай. Что Питер этот? на что он похож? и правда – столица?

– Столица, столица, бесстыжие лица... Ну а как же! Вылезли мы на вокзале из вагона. Чешемся. Вши, растудить их. Матвеев себя по карману хлопает: денежки я взял с собою, ищем баню, пропаримся до костей, поганцы сдохнут! Баню – нашли. Чудеса! Стены зеленым мрамором выложены, с синими и белыми прожилками! Я такого камня даже на Урале в раскопах не видал. Многоценный! Ну, дворец чистый. Ковры на ступенях. Перила тожа мраморные, белые лебеди. А мы-то в грязных сапожищах. Подымаемся, как по лестнице Якова в рай. В предбаннике шкафы слоновой кости. С номерами – на каждой дверце! И там вешалочки. Шинельки мы развесили. Раздевацца надо до портов, а мы стеснямся.

– Ха, ха! Обнажились?

– Пришлось! Париться ж в портах не будешь! По тазику с железными ушами нам выдали. Заместо шайки. А ищо по венику березовому. А ищо – по куску синего мыла и по вехотке. Вехотка такая огромная, што тебе бородача у попа! Я в ей чуть было не запутался. В залу шагнули – пар клубами! Мужики питерские голые, кто бледный как плесень, кто – алый весь, распаренный уже. Стоят перед тазиками. Плещутся. Из двух кранов вода хлещет: из единого – ледяная, из другого – кипяток. Я чуть не ошпарился! Палец чуть под струю не сунул! Воды набрали, стоим, озираемся. Петр шайки все ж углядел. Вон, кажет, в их веники запаривают! И мы туды свои веники сунули. Дух! Пьяней вина. Я Матвееву – спину вехоткой тер. У его на спине, ребята, родинки – крупней сытого клеща!

– Ха, ха-га-а-а-а!

– А еще чо у него крупное, а? Иль там все мелкое?

– Да не перебивай ты! Надраились вехоткой до того, што кожа заныла. Хрен стоит, как морква! Глеб на дверь парной киват: вот таперя можно и туды! Взошли. Мужики на лавке на верхотуре сидят. Ровно куры на насесте. Печка – на железную дверь задраена, с засовом, чисто корабельный трюм, машинно отделение. Засов тот чугунным крюком отодвигают, понизу шайку становятся... ковшом зачерпывают – и раз! – печке в пасть – водицы! Испей, матушка! Я засов отдернул, ковш за ручку ухватил, она нарошно длинная, деревянная, штоб, значитца, ладони не обжечь. Воды – от души плеснул! А мне кричат: ищо, ищо давай! Я плещу. Ищо, ищо! – вопят. Я в тую печку такую кучу воды залил – ну, думаю, хватит, а то задохнемся тут все! И вот пошло! Поехало! Пар такой – аж все косточки выворачиват! Забралися мы наверх, на лавке угнездились. Ждем! И нахлынуло. Так задрало! Петр нам кричит: вся кожа полопацца! Глеб хохочет: если жив останусь, Сашку вздую!

– А мужики што?

– А мужики рядком сидят, похохатывают! Вениками хлещутся! И мы тоже венички-то схватили да давай наяривать! Эх... хорошо!

Сашка зажмурился, как слизнувший сливки кот, вспоминая питерскую баню. С койки на табурет пересел.

– Да ты поближе к делу валяй!

– К делу?

– К Ленину!

– А я ж про што! Ну, значит, попарилися мы вволюшку. Из залы вывалились. Полотенцы нам банщик несет, чистые.

– А ты бы хотел – грязные?!

Пулеметчик Гришка Нефедов, по прозвищу Искра, сидел босиком, в руках сапог: начищал сапоги промасленной тряпкой.

– Ничо бы я не хотел! А хотел бы... навеки там остацца. До того расчудесно!

– Банщиком, што ль?

– А хоть бы и банщиком!

– Ха, ха, ха...

– Дальше слушайте! Остыли. Одежку напялили. Вонючая она, опосля дороги-то. Банщику Матвеев – на чай дал, ровно как половому. Он кланялся, смеялся, а зубы – белые! На улицу спустились, вечереет, ночевать негде. Мы с Глебкой на Матвеева смотрим. Он – главный! Значит, самый умный. Приказа ждем! А он на нас так хитро глядит и говорит: идемте, мол, прямо в Смольный, там наши братья-солдаты, неужто не пустят сибиряков переспать? Да за милую душу! Долго искали, где тот Смольный. Нашли!

Лямин стоял у замороженного насмерть окна и все речи Сашки слушал затылком. Ногтем наледь ковырял.

– Являмся. Внизу – охрана. Мы им: тута Совнарком? Здеся, нам в ответ! Мы: а Ленин, Ленин тоже тут? Обсердились. Штыки выставили. «А вы кто такие будете?» – допрашивают. Матвеев встал во фрунт, руку к фуражке приложил: «Отряд Советской власти из города Тобольска под командованием Петра Матвеева в Петроград прибыл!» Энтот, питерский, ему тожа честь отдал. «Документы!» – ладонь вывернул. Ну, мы ему наши удостоверенья. Он опять козырнул. Но все-таки нас на всякай случай ищо раз глазами – обвел. Как ледяной водой из шайки окатил! Мы виду не подали. Время опасное. Под подозреньем – все! Дверь с натугой распахнул. Дверь – тяжеленная! Как золотая рака, гроб святой!

Слушали уже тихо, не перебивая. Лямин перестал скрести оконный иней.

– По коидорам идем. Руки ртами греем. Задрогли, январь-то в Питере – злей сибирского, там же ветрило с Финского залива как задует – так дух из тя вон, все потроха отмерзнут, не то што рожа. По лесенке взошли, опять мерям сапогами громаднющий коидор. Конца ему нет. И тут энтот, што вел нас, как вкопанный стал перед белой дверью. А дверь – под самый потолок. А потолок – башку задери, шею вмиг сломашь! Перед дверью – часовой. Энтот, наш, козырнул, на нас указал: вот, мол, энти – из Сибири! Сибирь, одно слово – волшебное слово. Часовой пошел, доложил. В окнах уже тьма. Пять вечера, а однако, глаз наруже выколи. И метель, вижу, завихрилася. Глебка шепчет мне: эй, Сашка, неужто они тут так до ночи-полночи и сидят? бедняги...

Глеб Завьялов на коленях стоял в углу, перед сундуком; он на сундуке ножом вензеля от скуки вырезал. Нож на пол со звоном бросил. Все оглянулись, зароптали.

– Не так! – крикнул Глеб. – Что все переврал! Басенник!

– А как ты сказал? Ну, как?

Люкин, сидя на табурете, вызывающе подбоченился.

– А вот так: до ночи правительство наше работает на нас, дык они ж герои!

Солдаты смеялись.

– Так герои или же бедняги?

– Дальше шпарь, Сашок!

– Ну. Ждем. Дверь приоткрыта. Вижу в проем: чернай аппарат, от него по паркету – провод. Ножки кресла вижу. На паркете – бумажка валяцца. Чьи-то руки ее бац – и подымают. Голоса слышу. Матвеев кашлят, нервишки! Глебка спокоен, как баран среди овец. Часовой выходит: «Велено пропустить!» Заходим. Робеем, што уж тут. Кресло кожаное. Стулья венские, с гнутыми спинками. Стол. На столе – кипа бумаг и чай в стакане, с подстаканником.

– А Ленин, Ленин-то иде ж?!

– Вот брехун, никак не подберется...

– Щас подберусь! Поперед Ленина – из-за стола – на нас глазами зырк, зырк – чернявый такой, малюсенький, весь бородой вороной зарос, мохнатый, очкастый... пучки волос торчат над одним ухом, над другим... ну чистый пес дворовый! А костюмчик чистенький, аккуратненький. Воротничок белый, снега белее. А очки я рассмотрел: не очки энто, а как энто... во, писнэ! Чернявый энто свое писнэ на носу – пальцем подтыкат. А оно сползат все и сползат. Садитесь, энто нам, товарищи! Вы, грит, из Сибири? Из Тобольска? Дык я ж вас жду! Как так ждете, я ничо не понимаю, осовело на Петра гляжу! А Петр мне: сопли подбери, энто Яков Свердлов, я ему телеграмму... еще раньше... отбил...

– А-а, вон что...

– Так то ж не Ленин, то ж Свердлов! А игде Ленин?

– Погодь ты! Не гони лошадей! Свердлов нам: царей охраняете? Матвеев: так точно, товарищ председатель ВЦИК! Свердлов: а заговор у царей имецца? Ну, штобы сбежать из-под наших ружей? Матвеев аж побелел, весь банный румянец как корова языком слизала. Нет, громко так рапортует, не имецца! Все тихо-спокойно! Свердлов обо всем распрашивает – Матвеев отвечает, как в церковно-приходской школе китихизис. Будто б нарошно готовился! А я стою и думаю: а пожрать чего-нить у них тут можно? Може, угостят странников? И Глебка, смотрю, с голоду набок валицца. Глядит на чай. Стакан на блюде, коло стакана – ложка и белые куски. Сахар! Мы сахара не видали сколько времени? То-то и оно!

– Ты, к Ленину живей...

– Свердлов взгляд тот уловил, стакан к Глебке по столу подвинул: пейте, товарищ! И обернулся к часовому, и вежливенько так: вы подите на кухню, нарежьте ситного, да кильки на тарелке принесите, да вареной картошки, если осталася. У меня все внутри аж взвыло от радости. Часовой живо возвернулся! С подносом, и еда на ем! Мы ели... стол энтог правительственный обсели с трех сторон и ели... а Свердлов смотрел на нас, как... как на...

Люкин замолчал, щелкал пальцами. Потом рукой лоб обхватил.

– Ну чо ты затих?!

– Как... на зверей... в зоосаде...

И все враз замолчали. Обдумывали это.

Потом Люкин заговорил тише, спокойнее. И печальней.

– Свердлов повернулся как-то боком. И куды-то вдаль глядит. Как капитан с мостика – на дальний остров. Последил я, куды. У далекого окна кресло. Приземистое. И из того кресла чья-то лысая, как яйцо, башка торчит. Бордюрик такой сивых волос круг лысины. Ну, думаю, старичок какой-то дремлет. Може, тожа приема ждет. А Свердлов голос-то возвысил. «Владимир, – грит, – Ильич, позвольте вас от работы оторвать! Вот тут к нам важные гости пожаловали! Из отряда, что царя охраняют в Тобольске!» И из кресла – навстречу нам – мужичок тот поднимацца, махонький такой, бородка острая, клинышком, щеки да глаза ладонью трет, с колен у его тетрадь на паркет валицца, он за ней наклоняцца, лысина в свете люстры сверкат, – а я кумекаю: так вот же он! Вот – Ленин!

Общий вздох пронесся по комнате и погас.

Люкин кулаки сжал. Так и сидел, и говорил со сжатыми кулаками.

– Мал росточком, да. Мал золотник, пословица есть, да дорог. К нам подкатился. Мордочкой, энто... на ежонка похож. Бородка шевелицца, нос шевелицца, усики дергающа.

Из глаз – искры сыплюцца, какой огнеглазый! Веселый, дак. Я гляжу во все глаза! Где, думаю, ищо Ленина увижу! Да нигде. Вот тут только и увижу. Вместо глаз у мене будто бы когти сделались, все ими зацепляю. На столе килька лежала в миске – так ее в одночасье не стало. Все схрумкали! Сидим, как коты, облизываемся. Свердлов ищо ситного приказал принести. Ситный – вкусней некуда. А Свердлов нам: ищо чаю, товарищи? Глотки горячим питьем греем!

– А другим горячим питьем-то – грели? Али Ленин не пьет?

– Ты, дурень! в рот не берет! начальник же!

– Жрем, прямо перед носом Ленина, а он не ест, на нас глядит. И – спрашивает, а мы с набитыми ртами, нам нелепо отвечать, да мямлим все одно. «Там, – грит, – у вас комиссар, назначенный Временным правительством?» Мы кивам и на Петра глядим. Петр тоже киват. А по морде вижу, что сам толком не знат. «Комиссара того – сместить! Комиссара Советской власти – назначить!» Сместить, это же как, думаю, в расход пустить, што ли? Матвеев Ленина зрачками грызет. Каждое слово – шепотом – за ним повторяют! А Свердлов молчит. Как воды в рот набрал.

Бойцы слушали, открывши рты.

Все – слушали. Никто словечка щепкой в колесо не вставил.

– И так вот Ленин нам и приказал! Ну да, нам. – Вздохнул Люкин. Затылок крепко почесал. – А кому ж ищо!

Холодная вода молчания разбавилась крутым кипятком ненароком брызнувших слов.

– И чо? Больше ничо вам Ленин и не сказал?

Люкин оскалился.

– А про чо он нам должен был ищо сказать?

– Про нашу жись. – Говорил бородатый, длинный как слега, со впальными щеками, старовер Влас Аксюта. – Про жись! Как, мол, мы жить все будем... после того, как всю эту нечисть, – рукой махнул, – со стола, как крохи, сметем!

– Крохи, – усмехнулся Сашка и опустил кудлатую башку низко, лбом чуть не коснувшись обтянутых болотистыми штанами колен, – если б оне были крохи, а мы – воробьи. Не-е-ет, не крошки оне, и мы не воробышки. А мы все – люди. И мы люди, и оне люди.

– Люди?! – заорал Никандр Елагин, выпрямляясь гневно. Волосенки вокруг головы дыбом встали. Уши от внезапного бешенства покраснелись. – Если б – люди! Какие ж они люди! Они – кровопийцы! Всю кровушку из Расеи выпили! А мы их... тут... лелеем! Стыд меня берет! Давно бы их за оврагом, близ Тобола, чпокнули!

Лямин молча закурил, и дым успокоительно и дурманно обволок всех, уже зароптавших, загудевших ульем. Курил, ссыпал пепел в горсть. Перепалку слушал. Не встревал.

– Я и не рад, што спросил! – гремел Аксюта. Его мощный бас словно бы раздвинул стены комнаты, приподнял крышу, птиц распугал. – Я и сам гадов ползучих, всех, кто на Красную Расею позарится, своими руками – расстреляю, передущу! Но только тех, кто на нас нападет! А мирных – нет, гнобить не буду! И этих...

Влас Аксюта покосился на дверь, будто бы там стоял царь с семьею и мог его подслушать.

«А кто их знает, может, и стоят». Лямин поглядел на печную дверцу. Неистово горел огонь, дверца была плотно закрыта, и пламя видать было лишь в щели да в продухи.

– Ну ты, поп бывший! Знаем мы, как ты в Красную Гвардию пошел! Храм твой сожгли, приход твой перебили! Вот ты, штоб по миру не отправиться, и качнулся в Красную Гвардию! А поповских в тебе ухваток – хоть отбавляй, все не отбавишь!

– Но, ты! – Аксюта замахнулся на неистово кричавшего, долыса бритого Игната Завьялова, Глебова брата. – Бреши, да не заговаривайся! Ты мне церковь не забижай! И про попов зря не мели! Я, может, когда все закончится... опять в церковь служить пойду!

– Ой, по-о-о-оп! Ой, по-о-о-оп! – хохоча, показывал корявым пальцем на Аксюту Игнат. – Ой, насмеши-и-и-ил!

Издали, от самой двери, раздалось:

– Братцы, уймьтесь... Эх вы, братцы...

Борода Аксюты дергалась. Скулы вздувались и играли. Он повернулся спиной к хохотавшему Игнату. Приблизил бороду к уху Сашки Люкина.

– Дык я про Ленина спросил. Чо он говорил про нас?

Люкин ошалело глядел не в глаза Аксюте – слишком горячие они у него были, обжигая,плыли впереди лица: на сморщенный мятым голенищем лоб.

– А ведь и правда, чо-то баял. А вот чо? Забыл я уже.

Аксюта рассерженно сжал кулак и помотал им в воздухе.

– Ах ты, ну как старик уже! Беспамятный!

Люкин хлопнул себя по лбу. Полез за голенище и вынул оттуда мертвого сверчка.

– Чертовня какая, энто он мне – в бане в сапог свалился! – Держал сверчка на ладони, рассматривал. – Эх, козявка, букарашка... Пел ты, плясал... ногами скрежетал... усами шевелил... а потом р-раз – и сдох. Жись! Вот она какая!

Поднял голову. Покарябал ногтями голую грудь.

– Вспомнил! Не дедок я уж такой дряхлый! И память не растерял! Ленин сказал так: вы поборитесь как следоват, всех врагов одолейте, и наступит светлое время... светлое будущее, во как он сказал!

– Светлый рай, – очень медленно, будто старый засахаренный мед жевал, проговорил Аксюта, – светлый такой рай, пресветлый...

– Да не рай! – возмущенно крикнул Исидор Хайрюзов, родом из-под Иркутска, из семьи, где мать родила пятнадцать душ детей. – Не рай! А светлое, слышите вы, глухие, будущее!

– Да, – медленно кивнул Аксюта, – за поправку – спасибо... дети наши, а то и внуки, может, увидят... заживут... мы за них в море крови тонем...

Широко, как широкую мережу из воды вытаскивал, обвел твердой доской-рукой округ себя. И Лямин проследил за медленным движением его ладони.

«Море крови. Море. Или река. Все равно море».

Гомонили. Курили. Друг друга по плечам били. зуб за зуб огрызались. Хохотали. Хихикали. Заслоняли лица руками, словно от яркого света.

– А ты чо молчишь? Хоронисся?

Ему меж лопаток достался удар увесистого веселого кулака. Лямин обернулся.

– А, ты. Я не хоронюсь, – бросил он Андрусевичу. – Я – думаю.

– Думают индюки!

– Не бойсь, в суп не попаду.

– Ну ты, дружище, прервали тебя! А чо дальше-то было? Чо, Ленин вас спать пошел уложил?! – крикнул залиvisto, как поутру петух, уже развеселившийся Игнат Заявьялов.

Люкин руку вперед выбросил.

– Эй, там! Гимнастерку подайте! И тужурку. Задрог я. Чо ко мне прилипаете, как осы к медку?! Все я сказал. Все.

– Все, да не все! – вскрикнул Игнат.

– А хочешь все? Да ничо особенного. Ночь спустилась. За нами рыбки хребты да крошки прибрали. Подстаканники унесли. Каки-то девки, ядрить их. В узких таких платьях, сами длинные, как рыбы. Так бы и съел.

Люкин бросил дохлого сверчка на пол, натянул гимнастерку, накиннул поверх истертую тужурку.

– Чо ж не съел?!

– Иди ты. Петр бает: в обратный путь пора. Вы, грит, слова Ленина помните? Не выдавать царя никому и никогда без приказа товарища Свердлова и Совнаркома. Ну мы кивам: поняли, значитца, все! Только приказ ВЦИКа, и подпись Ленина самого! А так ни-ни! Поло-

жили нас на ночевку в маленькой каптерке. Там отчего-то копчеными лещами всю ночь страсть как пахло. Я аж весь слюной изошел. И посреди ночи встал, как этот, лунатик, и пошел тех лещей искать. Ну, думаю, где-то сверток схоронен! Али – в ящике запрятаны, ну так воняют аппетитно, душу вон! Шарю. Матвеев и Глеб – храпят, не добудисся. И вот источник запаха, кажись, отыскал. Наклоняюсь. Короб передо мной. Закрыт неплотно. Я крышку вверх – ать! – а там... а там...

– Не томи, мать твою!

– А там – банки с гуталином и ваксой, и – до черта их...

Смех грохнул, как выстрелы, вразнобой.

– Спали отворотительно. Можно сказать, и не спали! Хоть и в поездах энтих, как назло, тоже поспать всласть не удавалось. Там лежи, да ушами стриги. Каптерка душная да холодная. Отопления у них в Смольном – тоже никакого! Дровишки экономят. А Ленин, баяют, там частенько ночует. Когда государственных дел невпроворот. На кожаном диване.

– Холодно яму.

– Ну дык накроют чем тепленьким. Шубой какой.

– И вот переспали мы... еле встали. Спали-то на полу. Прямо на паркете. В шинелях. Руки под щеки подложили, и вперед. А тут утро. Выросло, как гриб из-под земли. С часовым хотели как люди попрощацца – а глядь, там уже двое других маячат. С ружьями, все честь по чести. Нет, никто Ленина не убьет!

– Ну, пусть только посягнут.

– На площади живьем сожжем того, кто – посягнет!

– Ты, брат, доскажи...

– Выкатились из Смольного. Нева перед нами. Ох, широкая! Да не шире нашей Оби. Или – Енисей нашего.

«Или Волги. У Жигулей».

Лямин прикрыл глаза. Носом втянул воздух и ощутил будто влажный, волглый и рыбий запах реки. А потом – наваждением детского сна – тревожный, густо-пряный дух желтых кувшинок.

«Мне бы тоже брякнуться да выспаться, на ходу брежу».

– Стоим, на парапету облокотилися! Вода идет мощно, могутно. И – быстро. Так катит, что тебе мотор! А мы и забыли, как на вокзал добирацца. Язык, понятно, до Киева доведет! Всех пытам, встречных-поперечных! Заловили старушку одну. Ну точно бывшая! В мехах, правда, драных, в кружевном платочке, в ушах алмазы.

– Брульянты, дурак.

– Точно, они самые. Мы ее взяли в кольцо. Мол, как к вокзалу пройти. Али проехать. А она на нас глаза как вскинет! А глаза как у молодой. И в глазах... не, братцы, не могу передать. Ненависть одна черная! Ну ненависть! Такая, что мы замолчали... и чуть не попятимся! А она нам: стреляйте хоть сейчас, негодяи, вы всю мою жизнь расстреляли, всех моих убили, весь мой мир – сожгли! А я вам еще как к вокзальчику проехать, показывай?! Да идите вы все знаете куда?! И на землю под нашими ногами – плюет!

– На этот, асвальд. Какая там земля.

– Ну ляд с ним. И еще раз плюет. И Матвееву на сапог – попала. Он ручонками-то взмахнул. Ну, думаю, сейчас старуху задушит! А он вдруг знаете што? Обнял ее!

Тишина свалилась с потолка серой паутиной.

В полном молчании Люкин договаривал – потерянно, тихо.

– Обнял... да... Она не вырывалась. Мы стоим рядом. А Петр старуху выпустил из лап, полез в карман шинели и вытащил сверток. Развернул газету, а там – хлеб. Ситный, тот! Што мы в Смольном... на глазах у Ленина... ели... он нам тот хлеб – в дорогу приховал... И вот

ей сует. И шепчет, а я слышу: бабушка, только не бросай хлеб, не бросай, ты только съешь его, съешь, а то сил не будет, умрешь. Ты только его, шепчет...

– Што? – шепнул Игнат.

– Чайкам, уткам – не отдавай...

Помолчали все. Подышали – глубоко, тяжело.

– Так Ленина хлеб и уплыл! Бабушке за кружевную пазуху! Графиньке, небось, вчерашней...

– А бабка та – и спасибо не сказала?

– Ничо не сказала. Как рыба молчала. Мы пошли, а она стоит. Я обернулся. Хотел еще раз ей в глаза глянуть!

– Ну и што? Глянул?

– Глянул... А глаза – закрыты... И хлеб к тощим грудям – прижимат...

– А чо с нами тут Матвеева нет? Брезгает начальник нами, клопами?

– Да не. Дрыхнет после бани. Мы-то тут молодые, а он уж седенькай.

– Это Аксюта-то молодой?!

– А хочешь сказать, я Мафусаил?!

– Молчать, солдаты. – Люкин наступил на сверчка сапогом. Высохшее насекомое хрустнуло под подошвой. – Он и правда спит. Он нас с Глебкой в пути – знаете как спасал? Вам и не снилось. Смерть-то, она всюду близко ходит.

«Иногда так близко, что путаешь, ты это или она», – думал Лямин, вертел болтавшуюся на ниточке медную пуговицу. Надо бы Пашке сказать, пусть пришьет.

А где Пашка? Второй день не видать.

Да он не сторож ей, чтобы за ней следить.

Он – за царями следит. За это ему и жалованье, и харч, и почет.

И вдруг далеко, за печкой, за матицей, под потолком, а может, и на чердаке, под самой крышей, запел, затрещал сверчок.

– Живой! Елочки ж моталочки!

– Ты ж его пяткой давил – а вот он ожил!

– Брось, это ж другой.

– А тот-то где?

– Да на полу валялся!

– А глянь-кось, его тута и нету уже! Уполз!

– Воскрес...

– Как Исус, што ли?

– Ну наподобие...

– Ти-хо!

Люкин поднял палец. Задрал подбородок. Слушал так неистово, будто молился.

Сверчок трещал неумолимо и радостно, будто спал – и вот проснулся, был мертв – и вот ожил.

Лицо Сашки Люкина изумленно, медленно начинало светиться. В темной широкой, как баржа, битком набитой людьми комнате лицо одного человека светилось, разогревалось медленно, как керосиновая лампа; пламя лилось из глаз, заливало переносье и надбровья, озаряло раскрытый в детском удивлении рот.

– И правда сверчок...

Влас торжествующе повернулся к Люкину.

– А он-то – далеко! Н укусишь! Не раздавишь!

Люкин озлился. Робкая улыбка превратилась в оскал.

– Захочу – и раздавлю! На чердак влезу – и найду! И в расход!

Сверчок пел счастливо и неусыпно.

Лямин встал и шагнул к печи. Ему невозможно, до нитя под ребром, захотелось увидеть живой огонь. Взял кочергу, лежащую на обгорелой половице, сел на корточки, подцепил ею раскаленную печную дверцу. Дверца узорного литья: по ободу завитки в виде кривых крестов, в центре едет колесница, в колеснице в рост стоит женщина в развевающемся платье, правит четверкой лошадей.

Наклонился. Пламя пыхнуло в лицо, едва не поцеловало согнутые ноги. Он нагнул голову еще ниже. Вытянул к огню руки. Шевелил пальцами. А что, если руки сунуть в огонь? Ненадолго, на миг. Что будет? Обожгутся? Покроются волдырями? Опалятся волоски? Обуглятся и затлеют ногти? Или ничего не будет, как у тех, кто паломничал на Святую Землю, в славный град Иерусалим, и был на Пасхальной службе в храме Воскресения Христова, и дожидался в толпе возжигания Благодатного Огня, и зажигал пук белых свечей от летучего того пламени, и совал в пламя руки, лицо, лоб, бороду, гладил тем пламенем грудь и шею, целовал его голыми, беззащитными губами? И – жив остался, и не запылал!

Дрова трещали в печке. Дотлевало огромное толстое сосновое полено. Из печи тянуло смолистым духом. Громкий треск сухого дерева рвал уши, люди вздрагивали и смеялись.

Лямин пошерудил кочергой дрова. Головешки сочились синими огнями. Мелкие ветки давно сгорели. Оставались только крупные, круглые, тяжелые бревна, распиленные криво, как придется. Огонь обнимал их, бегал по ним рыжими быстрыми ногами.

Лицо напротив огня. Руки рядом с огнем.

«Так и наша жизнь. Рядом с огнем. Всегда. И сжечься – так просто. Тебя в огонь бросят, и сгоришь. Или он сам к тебе подступит, и не убежишь. А какой красивый!»

Огонь плясал вокруг кочерги.

«Вот она черная, страшная, а огонь вокруг нее ой как пляшет».

– Эй! Эге-гей! Слушай мою команду! – Матвеев в дверях стоял при полном параде. Плюгавенький, напускал на себя вид военачальника. – Все на собрание!

– Куда? На какое?

Звезды резкими ножевыми лучами напрасно старались разбить затянутое светящимся льдом окно.

– На общее! Весь отряд – быстро собрать! Всем буду докладывать, что нам ВЦИК приказал в Петрограде!

– Эй, командир, а пошто собрание-то ночью? Чай, спать все хотим!

– И то верно, завтра рано вставать! Затемно!

Матвеев скрипнул зубами, будто орех разгрызал.

– Перебьетесь. Важные вопросы решать будем!

– А с чем связаны-то вопросы? Може, и тута решим?! – крикнул Игнат Завьялов. Щеголял в тельняшке: ему недавно подарила девчонка с тобольского рынка. Сказала – с убитого моряка, ее жениха. Слезы тем тельником утерла и Игнату в руки насильно всунула. «Убегла, – рассказывал солдатам Игнат, – а я с тельником посреди рынка стою, как Петрушка, и думаю: а може, в костер швырнуть, може, он заговоренный?»

– С кем, с чем! Сами знаете!

И тут все сразу, странно, без слов все поняли.

И засобирались.

Кто успел из портков выпрыгнуть – снова в них влезал. Набрасывали на плечи шинели: плохо протапливался большой дом. Топая, сапогами грохоча, спускались вниз, в старую пустую, без мебели, каминную. Мебель всю на кострах сожгли да в печах, об ней и помину не было.

В каминной рядами стояли узкие лиственничные лавки. Солдаты расселись. Крутили «козьи ноги». Раздавался пчелиный медовый дух: кто-то со щелканьем, с чавком жевал прополис.

Матвеев встал перед отрядом, по правую его руку разевал пасть громадный, давно холодный камин. На железном листе, как на дне морском, валялись старые головни. Они походили на обгорелые хребты огромных рыб.

– Итак! Собрание начинаем. На повестке дня...

– Ночи, ешкин кот...

– Судьба тех, чьи жизни сейчас находятся в наших руках! В ваших руках, товарищи!

– В ваших, в наших, – буркнул Игнат Завьялов. – Как будто нам тут что позволено.

Громко крикнул:

– Да поняли уж все! Ни в каких не в наших, а в твоих!

– Ни в каких не в моих, а в руках ВЦИК и Ленина! – запальчиво и резко крикнул в ответ Матвеев.

– Ну вы там, ты, Игнатка, давайте без перепалок...

Матвеев приосанился. Пощипал тощие усенки.

– Слушаем внимательно! Наш отряд охраняет особо важных персон. Их жизни важны для нашего молодого государства! Германцы, – Матвеев кашлянул и снова подергал ус, – германцы, а возможно, и англичане, да что там, целая Европа... спит и видит, как бы вызволить отсюда, из Сибири, бывших, кхм... – Слово «царей» побоялся выговорить. – Бывших правителей России! Гражданина Романова и его семейство!

– Ишь как он их пышно, семейство, – шептал Мерзляков себе под нос, – прямо сынок им родной...

– В Петрограде власть перешла в руки большевиков! А значит, судьбу Романовых нынче решает кто? Большевики! Выношу на повестку дня...

– Ночи, в бога-душу...

– Вопрос о том, на чьей мы стороне! И как мы теперь должны охранять нам вверенных людей! Ленин в Петрограде сказал нам так: стереги их как зеницу ока, потому как мы одни... мы! одни! слышите! это Ленин ВЦИК и себя имел в виду!.. можем распоряжаться ихними жизнями! Я решил вот что. Эй, уши наострите! Что мы все – да, все мы – всем отрядом! – дружно переходим на сторону большевицкого правительства! Другого пути у нас нет! И посему... – Опустил глаза, словно бы шаря зрачками по невидимым строкам несуществующей бумаги. – Посему даю вам всем клятву, что скорее сам сдохну, но никому из этой семейки не дам уйти живыми... если они вдруг захотят от нас убежать!

Пахло махрой, портянками. Лямин глядел на камин.

«Затопить бы... согреться... Да все дымоходы, видать, грязью забиты...»

– И они! Никогда! От нас! Не удерут! Мы за них – за каждого – шкурой отвечаем! Уразумели?!

– Што ж не понять, командир!

– Все ясно как день...

– И в каждую смену караула я теперь ставлю – по одному человеку из большевицкого правительства Тобольска!

Зашумели.

– А по кой нам чужие люди?!

– Эж што удумал!

– Чо мы, сами не справимся?! Не совладаем с энтими... с девчонками?! да с мальцом задохлым?!

– Что сказал, то сказал! Приказал! – Матвеев ощерился, сверкнул пороссячьими глазенками. – Это приказ! Чужих встречать миролюбиво! Харчем – делиться! Сторожить – не смыкая глаз! Мне сам Ленин сказал: заговор – существует! Только слишком глыбоко, тайно запрятан...  
Перевел дух.

\* \* \*

## Интерлюдия

*...перевести дух. Мне бы хоть немного перевести дух.  
Да они – мои солдаты – мои цари – никто – ни один из них – ни на минуту не отпускают меня.*

*Я хочу сказать о них правду.*

*А мне говорят: какую ты правду избрала, ведь тогда много правд было, и никто не знает, какая – верная, самая правдивая правда! Солдатская там, или комиссарская, офицерская ли, царская! А может, мужицкая? Меня спрашивают: как ты их видишь, каким острейшим зреньем, своих красноармейцев – как великий восставший народ, знающий, что он творит, или как народ жалкий, несчастный, обманутый, ведомый за красную, кровавую веревочку, видящий перед голодной и грязной мордой своей красную морковку лучшей, прекраснейшей жизни? Надо мной смеются: вот, баба, ты взялась не за свое дело!*

*А ты, кричу я в ответ, ты-то знаешь, что на самом, на самом-то деле там и тогда – было? Что, берешься досконально и доподлинно все изобразить – и наконец-то предъявить нам последнюю, наивернейшую, сильнейшую правду, что поборот все остальные, слабые и хилые правды? А? Что?! Не слышу. Берешься?*

*Мне говорят, улыбаясь мне в лицо: вот ты хочешь сказать, что и красные – страдали, что за красными – она, наша последняя правда, что красные воевали за хлеб – голодным, за мир – народам, за землю – крестьянам... и кровь за это щедро лили, еще как проливали? Да? Да?! Что молчишь?!*

*Хочешь сказать, мне кричат, что у красных тоже были хорошие генералы?*

*А еще вчера эти красные генералы были генералами царской армии – и вели в бой с германцами русские войска в Польше, в Галиции, под Брестом, под Молодечно!*

*А позавчера они, твои красные генералы, были царскими юнкерами!*

*Хочешь сказать нам о том, что красных солдат – обманули говорливые, с лужеными глотками, партийные пропагандисты?*

*А может, хочешь другое сказать нам. Что красных было гораздо больше, чем белых, что все вставали под красные знамена, кто был угнетен, раздавлен, обобран, – убит при жизни! Все, кому надоела нищая бесславная жизнь!*

*А ты, должно быть, не знаешь, как командарм Аралов кричал на Восьмом съезде РКП (б): «Воинские части приходят на фронт, товарищи, не зная, зачем они борются! Внутренние формирования недостаточно устойчивы!». А Иосиф Сталин кричал в ответ: «Опасны для нас, большевиков, отнюдь не рабочие, что составляют большинство нашей армии, – опасны именно крестьяне, они не будут драться за социализм, не будут!.. и, товарищи, отсюда наша первоочередная задача – эти опасные элементы заставить драться!». А ты знаешь ли, как заставляли? Нет?! Так слушай!*

*Как заставить крестьян воевать под красным знаменем – указал товарищ Троцкий: да очень просто! поставить за спиной атакующих пулемёты!*

*А знаешь, что говорил Григорий Сокольников, он же Гири Янкевич Бриллиант, командующий Восьмой армией: «Если армия будет находиться под командованием бывших офицеров, может произойти то, что крестьяне восстанут против нас!»*

*Ну и как тебе это все? Ты наконец понимаешь, что красные боролись за власть и только за власть?! Бывших царских офицеров красные вынуждали вступать в Красную Армию угрозами расправы с их семьями. Обманом: мы победим, мы – сила и правда! Генерала Брусилова обманули. Верховского, Апухтина, Баграмяна, Карбышева, Лукина – обманули. После гражданской войны тысячи офицеров, служивших в Красной Армии, были арестованы и расстреляны. Чистка! Великая чистка! Вот этого ты – хочешь?! Со своей правдой?!*

*...дух перевести бы.*

*...смерть, ведь ее называли разными словами. Смотря кто называл и смотря когда.*

*Бой. Битва. Подвиг. Сдохни под забором, собака. Эшафот. Пуля. Петля. Столыпинский галстук. Десять лет без права переписки. И это, с виду такое блестящее, здоровьем пьющее, аккуратное, домашнее, врачебное, словно хлорка в ведре или спирт в мензурке, – чистка. Чистка!*

*...Чистили, чистили, чистили нашу землю. Добела начистили. Докрасна. А потом и дочерна.*

*Что я вам отвечу, вы все, кто жаждет подлинной и окончательной, истинной правды?*

*Что бы вы сделали сами, окажись вы под прицелом красноармейского нагана?*

*А – под прицелом белогвардейской винтовки, еще с турецкой войны пользованной?*

*За власть, говорите, боролись красные? Да. Те, кто был близко к власти – боролись за власть.*

*А те, кто по всей бескрайней Расее был рассеян – боролись за счастье. Свое и детей. Ведь они его никогда не видали, счастье-то. Или – очень редко. На ярманке, когда леденцовых петушков сосали. Да на рыбалке, когда сетью – из реки – тяжелую рыбу тащили. Земля, родная земля, сверкающая всеми огнями, окнами, дымами, хороводами, литовками на сенокосах, сугробами, звездами, ожерельями рек и озер, латунными и золотыми, бьющимися в последней муке рыбами на сыром песчаном берегу, – вот она только, земелюшка, счастьем и была.*

*А вы говорите – власть!*

*Какая у мужика власть? Где?*

*...чистили, чистили, чистили. Красное знамя – красной тряпкой пыль и грязь с России вытирало. Вытерло? Вычистило? Отмыло?!*

*...за весь век мы потеряли всех: и крестьян, и землю, и счастье.*

*Что осталось?*

*Вот одна смерть, посреди жизни, каждому и осталась.*

*Своя собственная.*

*И не надо ее бояться. Иной раз она – лучший исход.*

*...как это сказала одна прекрасная, давняя снежная маска, имя ее сейчас уж былъем поросло, да никто его и не знает, никто не помнит; я знаю, я одна.*

*Не знаю час. Но чувствую пустоты —*

*Просторы; черноту; и белизну.*

*Поля снегов. Древесные заплоты.*

*...Ты, как свечу, держи меня одну,*

*Бог одинокий, в кулаке костлявом.*

*Ты дал мне жизнь. Ее Тебе верну,*

*Как перстень бирюзовой, синей славы.*

*Ничто: ни казни, мести, ни отравы —*

*Перед лицом Твоим не прокляну.*

*Смерть – это снег. Там холодно. Кровавы  
Мои ступни – от ледяных гвоздей.  
Гуляет ветер неведомой державы.*

*Всяк на снегу, прикрыв рукой корявой  
Лицо от ветра, – раб, испод людей.*

*...как это красиво написано. Какая красивая, скорбная тут смерть. А ведь на самом деле она уродливая. Она страшная и ненавистная. Для кого? Для того, кто не верует в Бога?*

*Да ведь и для Бога – чистку придумали.*

*...да сырою красной тряпкой до Него – не дотянулись.*

*Поэтому не говорите мне, пожалуйста, о последней правде. Не кричите мне в уши о том, у кого она на самом деле спрятана за пазухой. Я не шарю по чужим карманам. И я не рву прилюдно рубаху на груди и не кричу: я, я одна знаю все, эй, слушайте меня!*

*Не слушайте. Закройте глаза и тихо подумайте о смерти. Эти письма – о смерти и о жизни, и она-то есть одна медаль, единый Георгиевский крест о двух сторонах, им же нас наградили родители, земля, Бог. Да, Бог, кривитесь и отворачивайтесь, безбожники. Это ваше право. У вас в руках, вижу, новые красные тряпки – новую пыль с веков стирать.*

\* \* \*

Комиссар Яков Юровский не любил вспоминать.

Он вообще не любил задумываться; его нутро было устроено так, что ему надо было все время действовать.

Дело – вот был его стяг. Он высоко поднимал его над головой.

Но хитер был; любое дело ведь, прежде чем делать, надо обдумать, и вот тут – обдумывал. И продумывал все: тщательно, до подробностей. Перестраховщик, он все делал, отмеряя и вымеряя, не надеясь на везение, а надеясь только на себя.

Но иной раз, вечером, дома, улегшись, после вкусных маковых кнедликов матери, тети Эстер, на низкую скрипучую кушетку и закинув руки за курчавую баранью голову, он вспоминал то, что минуло.

...Стекла в руках отца. Они блестят, на солнце – ослепляют.

Он, мальчишка, заслоняется рукой от нестерпимого блеска.

Отец вставляет стекла в окна людям: и богатым, и не очень. Чаще всего бедным. Берет за работу очень дешево. Стекла у него грязные, и часто бьются. Рассыпаются мелкой радугой. Отец страшно сутулый, почти горбатый. Он горбатится потому, что все время таскает стекла. Ноги его заплетаются, как у пьяного, хотя он не пьяный; когда он устает, он свистит сквозь зубы смешную мелодию из трех нот, и тогда мальчишке Янкелю кажется: отец – птица, и сейчас улетит.

Отец таскал стекла, а мать шила и шила, и из-под ее руки, из-под стучащей иглы швейной машинки ползла и ползла река разных тканей. И толстых, и тонких. И пушистых, и паутиных. Шерсть, твид, креп-жоржет, крепдешин, бархат, плис, шелк. Ножницы в руках матери пугали Янкеля. Они взмахивали, и отрезали кусок от длинного, сходного с великанской колбасой отреза, – а Янкелю казалось, что они сейчас отрежут ему голову. И он кричал: «Не надо!» – и убежал в сарай во дворе, и забивался за поленницу дров, и втягивал курчавую голову в острые плечи, и плакал, трясясь.

Кроме Янкеля, в доме были еще дети. Янкелю казалось – они шуршат, как мухи в кулаке. Он научился считать – и смог их, братьев и сестер, сосчитать всех уже в школе. Тетя Эстер рожала каждый год, как кошка. Иные дети умирали еще в колыбельке, и тогда тетя Эстер горько

плакала и страшно кричала. Она выкрикивала на незнакомом языке слова, похожие на древние забытые мелодии. А отец садился на пол, раскачивался и тоже говорил, как пел. И тоже непонятно.

А маленькие дети в люльках и кроватках ревели и визжали, как поросята; а если люлек не хватало, их клали в большие корзины, выстилая корзину мягкой фланелью.

Детей родилось шестнадцать, а росло десять.

Заказчиков у тети Эстер всегда хватало. Копейку она зарабатывала; и отец тоже.

Но настал черный день, и тетя Эстер сломала руку, и не могла шить; а отец упал с чужого чердака, и сломал ногу, и не мог ходить. Нога заживала плохо и медленно. Гноилась кость.

Дети, кто подрос, уходили в люди; малютки бежали на паперть, просили милостыню, и православный народ, кидая им полушки и горбушки, ворчал: «У, жиденята!» Янкель пошел в ученики к закройщику. Закройщик был еврей, как и Янкель. Он распевал молитвы на языке иврит. Если Янкель неправильно клал стежок, закройщик втыкал ему иглу в зад. Янкель верещал, а закройщик радостно кричал: «Ай, криворучка, ай зохэн вэй!»

Закройщику приносили меха, чтобы пошить шубы и шапки; он исхитрился оттяпывать от меховин куски, и большие и маленькие, и потом из этих наворованных обрезков шил изделия и продавал их на рынке. А то заставлял продавать Янкеля. Янкель стоял за прилавком, перед ним лежали шапочки, воротники и муфты, и он, смертельно стыдясь, изредка вскрикивал: «Купите мэх! Мэх купите!»

А потом Янкель сбежал от закройщика и подался в подмастерье к часовщику.

Часы, циферблаты. Все движется, стучит, тикает, лязгает, звенит. Все жесткое, холодное, ледяное, серебряное, стеклянное. И цифры, цифры; они считают время, а время это не жизнь. Время – это деньги и слезы. И денег мало, а слез много.

Поэтому соблазняет, волнует красное. Красная кровь. Красные женские губы. Красное знамя.

Он встал под это знамя, потому что не подо что больше было вставать бедняку.

И бедному еврею – тем паче.

...После первой забастовки его посадили в тюрьму как вожака рабочих и сработали ему «волчий билет»: он не мог теперь поступить ни в один университет, и работать в часовых мастерских тоже не мог. А что он мог? Таких, как он, принимала в объятия партия.

Российская социал-демократическая рабочая партия.

Часовщик? Ювелир? Закройщик? О, оставим это другим евреям. Он может и будет заниматься другим.

Он – переустроит мир. Ни больше ни меньше.

Они, кто в партии, роют тайные ходы. Они – черви истории. У них тайные квартиры, тайные сходки, тайные битвы и тайные жены. Они, тихие жуки, точат вечное дерево, и оно перестает быть вечным.

...Освоив фотографическое дело, он открывал и закрывал фотографии, в его ателье всегда толпился народ, он был в моде и в фаворе, Яков Юровский. Он научился говорить вежливо, улыбаться тонко, кланяться низко и изящно; а тайную ненависть держал при себе, хоть и трудно это было.

И еще он мог избавляться от того, что было неудобно, неуютно или опасно. Так он избавился от фронта, когда его призвали. Так он избавлялся от назойливых любовниц и от шпионов, следящих за ним на улицах разных городов. Однако Екатеринбург упрямо возвращал его к себе. Он приезжал сюда – и оставался здесь, и вдыхал аромат кнедликов, посыпанных маком и обмазанных медом, что готовила старая Эстер; и ходил в фельдшерскую школу, учась благородной и святой медицине: медицина точно смотрелась благороднее всех стекол, шкурок, часовых стрелок и коричневых, как гречишный мед, фотографических снимков.

Хирургия. Госпитальные врачи. Он нравился докторам, этот немногословный фельдшер с чуть крючковатым, чуть козлиным носом и изящными, почти дамскими губами. Исполнительный, внимательный, четкий до жесткости: никогда не сделает ошибок, а во врачебном деле это дорогого стоит. Он ассистировал хирургам, видел рваные раны и раны колотые, сам удалял аппендиксы, сам зашивал разрезы после удаления опухолей. Он видел, какая она, смерть; у нее было множество лиц, все разные, и все – отвратительные. Он часто думал о своей смерти, какая она будет, как придет; но до смерти он хотел свергнуть тех, кто заставлял его страдать, он хотел взять реванш, и он знал: рядом с ним те, кто дико, по-волчьи, страстно и хищно хочет того же.

Февральская революция нацепила на всех красные гвоздики, и на него тоже. Но он хотел не жалкого, хоть и яркого, цветка на лацкане. Он хотел диктатуры и крови. Крови тех, кто пил его кровь. Старая Эстер причитала: ой же ты, мальчик мой, и куда же тебя несет, прямо в пекло! Он язвительно кривил красивые губы: мама, так я ж и хочу туда, в пекло. Там – судьба.

Фронты гремели и дымились далеко, а у него был свой фронт. Большевики взяли власть. Это был и его личный триумф. Выше, выше по лестнице! Она головокружительна. Заместитель комиссара юстиции. Председатель следственной комиссии при революционном трибунале. Чекист, и черная тужурка, и черная фуражка, и красная повязка. И иногда – очки, если плохо видел; а он плохо видел в темноте.

Чекисты заседали в Екатеринбурге в «Американской гостинице». Обстановка еще сохранилась прежняя, вчерашняя: широченные кровати с перинами, хрустальные люстры, тяжелые бархатные темнокрасные гардины, узорчатые ковры, высокие зеркала в дубовых резных оправах. Здесь гуляли купцы, стонали и плакали проститутки, совершались убийства и ложками ели красную и черную икру, уминали за обе щеки севрюгу и стерлядей. Еще вчера исходил дешевой звонкой музыкой и дымился криками, танцами и шампанским в ведрах со льдом роскошный ресторан. Сегодня исчезли купцы и их шалавы. И с ними исчезли икра и севрюга. И дорогие изысканные вина, ласкавшие язык и душу. Ленин проповедовал: вы аскеты, вы должны умереть за революцию, а все остальное вам чуждо, помните!

И они помнили.

Они все время видели перед собой Ленина, его лысую голову, его чертовскую, чертову подвижную, ртутную повадку, его большие пальцы, заткнутые в карманы жилетки, его наклоненный вперед корпус – будто он тянется за недостижимой конфеткой, за елочным сладким подарком, а соблазн держат перед его носом и не дают, а он все тянется, тянется. Ленин тянулся за судьбой страны, а за Лениным тянулись они.

И так выстраивался этот кровавый, черный цуг.

Друг за другом, цугом шли чекисты, и цугом шла смерть. ЧеКа и смерть – это была пара, это была дивная, небывалая свадьба. Чекисты нюхали умершие запахи купеческого разгульного ресторана, а смерть нюхала дымы их трубок и папирос и дымы их выстрелов.

В номерах спорили и сговаривались. Тузили друг друга и стреляли в окна. Каждый хотел быть командиром. Видел себя начдивом, комиссаром, а лучше – вождем.

Но вождь был один. Повторить его было нельзя. Запрещено.

Их всех тревожила его жизнь. Его путь.

Путь Ленина! Великий, светлый путь! Юровскому часто виделось, как Ленин ест и пьет: ест яичницу, пьет чай из стакана в подстаканнике. Обязательно в подстаканнике, и в серебряном, а может, и в медном, а то и в латунном, и, прихлебывая чай, глядит на красную звезду, отлитую в слепом и горячем сплаве.

Каждый из них немножечко был Лениным. И это было мучительно и прекрасно.

Каждый был Лениным в своем Совете; в своем околотке; в своем отдельно взятом доме.

И властвовал. И управлял. И выбрасывал вперед руку, приговаривая к смерти тысячи и миллионы, а может, двух или трех, это неважно.

Немножко Лениным был и Юровский. Он прознал, что Романовы в Тобольске; а может, он знал об этом давно, и забыл, когда узнал. Тобольск, не очень-то и рядом, однако Сибирь. А Урал-камень – брат Сибири. Ленин командует из Москвы – а он, сам себе Ленин, скомандует отсюда. Из родного города. Старая тетя Эстер, будь готова к тому, что твой сын прославится! А зачем чекисту слава? Это обман. Ему не нужны славы. Ему нужно красное знамя и кровь в огородных бочонках и банных шайках, чтобы купать в ней старые, списанные госпитальные простынки и окрашивать их в яркий цвет.

Часы идут. Стрелки сухо шелкают. Брильянты горят под стеклом витрин в ювелирных мастерских. Фотографические камеры наводят на тебя стеклянный всевидящий, равнодушный глаз. Скальпели взмахивают над корчащимися, мерзнувшими на стерильных столах телами. Вся его, Якова, жизнь – это согнутая над болью мастерства спина. Но разогни спину, умный еврей. Ты уже стал слишком умным. Ты уже понял, что к чему.

...Он думал и придумал: монархический заговор. Он позвал к себе хорошего работника. Оба коммунисты, как они не поймут друг друга? Работник сидел рядом с ним и смотрел ему в глаза и в рот, и он, маленький Ленин, чувствовал себя ответственным и за его жизнь, и за жизнь народа, и за жизнь и смерть царей. Цари! Ваши часы тикают все тише. Его друг Шая Голощекин уехал в Москву, к настоящему Ленину. А местный маленький Ленин тут сам придумал, как им быть. Царей надо привезти в Екатеринбург. Урал – это их огромный каменный эшафот. Они уезжали из Петрограда, из своих дворцов, и наверняка захватили с собой фамильные драгоценности. Много? Мало? Они хитрецы. Но он хитрее.

Работник знал иностранные языки. Он поймет, о чем они, аристократы, говорят. А они говорят по-немецки, по-французски и по-английски, чтобы наши русские солдаты их не поняли.

Юровский говорил тихо и внятно. Работник запоминал. Он поклялся жизнью матери: я все сделаю для трудового народа, товарищ Яков!

Юровский пожал плечами. Трудовой народ ждет от них подвига каждый день.

Трудовой народ – это тоже я, думал он гордо и светло.

И тут же, подумав так, хитро улыбался и внутри себя смеялся над собой.

...Трудовому народу должны быть возвращены его украденные сокровища. Все до капли. До блеска. До рваной золотой цепочки. До золотого червонца, которым заплатили за крепкий дубовый гроб, за чугунный черный крест на старом кладбище.

...а на еврейских кладбищах крестов нет: там все камни, камни.

\* \* \*

Лямин научился заталкивать глубоко внутрь себя, глубже потрохов, то, что выворачивало его наизнанку и жгло раскаленным стальным брусом.

Его мяло и крутило неодолимое, дикое. Он поздно это понял.

Бороться с собой было бесполезно и смешно.

А она неделями не подпускала его к себе, да и не до этого было.

Отталкивая его, она роняла сквозь зубы, вбок, будто сплевывала: «Не до этого сейчас, Мишка. Утихни».

...ночью, когда она переставала ворочаться за стеной в своей комнатенке – он слышал, когда кровать скрипеть переставала, – он, босой, в подштанниках, вставал с койки, выходил в коридор и клал руку на медную ручку ее двери.

Дверь всегда была закрыта.

Он приближал губы к щели. Налегал щекой на крашеную холодную доску. Шептал – что, и сам не знал. Не создавал. Слова лепились сами и обжигали губы. А потом слова умирали.

Вместо них изнутри поднималась пылающая тьма, он горел и гудел, как печь, и, молча проклиная и себя и Пашку, ломал дверь.

Но двери в Доме Свободы были сработаны на славу. Крепкие. Старые.

Однажды он так вот ломился к ней – и вдруг замер, ополоумел: почувал, что она стоит за дверью.

Слышал ее дыхание. Или так ему казалось. Чувствовал идущее от досок, сквозь щели и притолоку, легкое сладкое тепло.

Там, за дверью, она стояла на полу в мужских подштанниках и бязевой мужской рубахе, дрожала, глаза ее горели в темноте, как у кошки, и она, как и он, положила ладонь на медную, круглую дверную ручку.

Он прижимался к мертвой двери всем телом: пусти! Пусти меня!

Она стояла и тяжело, быстро дышала. Она тоже ощущала его тепло, его бешеный жар.

Да над ними и так уже все бойцы потешались. Ей так прямо командир Матвеев и сказал: если вы с Мишкой тут слюбились – так, может, вам и из Красной Армии вон уйти? Идите, семью обоснуйте. А тут все серьезно. А вы! Порочите честь красного воина!

– Пашка... Пусти... Пусти...

Презирал себя; и жалко становилось себя.

За досками, за тонкой деревянной загородкой, за слоем масляной краски и паутиной в щелях, стояла женщина и тоже наваливалась всем горячим, под вытрепанным за всю войну бельем, крепким поджарым телом на стену, на дверь. Беззвучно стонала. Кусала губы. Уже отжала защелку. Уже поворачивала ручку. Вот уже повернула. И отшагнула: входи! Ну! Давай!

...он налег рукой на дверь – она подалась. Приотворилась.

И его окатило изнутри кипятком, а потом будто бы всего, как святого мученика, взяли да в смолу окунули.

И так, кипящий, жалко дрожащий, стоял.

Опять притворил дверь.

И опять чуть нажал, и чуть отворил.

И еще раз закрыл.

И стоял, и горячий пот тек по лбу, закатывался за уши.

И снова нажал, и... не подавалась дверь, не поддавалась...

...она, с той стороны, защелкнула задвижку.

И, без сил, опустилась перед дверью на колени и уткнулась лбом в замазанную белой масляной краской сосновую доску.

...Снег чертил за окнами белые стрелы.

Снег бил и бил в ледяной бубен земли, а она все никак не могла станцевать ему, жадному и настойчивому седому шаману, свой нежный посмертный танец.

Снег шел, летел, а Николай сидел перед окном и не задергивал шторы.

Он смотрел в темное, расчерченное белыми полосами стекло своими огромными, серосиними, речными глазами, и взгляд бродил, туманясь и изредка вспыхивая тоской, запоздалой жалостью, тусклым огнем близкой боли.

Перед царем на столе лежали газеты. Много газет.

Его еще не лишили этой скорбной радости – знать, что происходит в мире.

В его мире? Нет, мир больше ему не принадлежал.

И он прекрасно, хорошо и ясно теперь понял Христа: нет в мире ничего, за что стоило бы зацепиться – мыслью, властью, лаской. Все принадлежит небу и смерти. Все. И все равно, что будет там, потом: а значит, все равно, что происходит здесь и сейчас.

Но ему причинял неизлечимую боль отнятый у него мир. Отобранная у него земля. Его страна, оставшаяся одна, без него, по-прежнему печатала газеты, стригла людей в парикма-

херских, продавала помидоры на рынках, войска стреляли во врага, только враг образовался не снаружи, а внутри. И враг говорил по-русски и воображал, что именно он и есть Россия.

Он читал газеты, бумага шуршала и жестяно скрежетала в его руках, и он закрывал глаза над свинцовым мелким шрифтом от боли и ужаса: он видел, вспоминая, как разгоняют Учредительное собрание, как власть берет Временное правительство; и как эти странные жестокие люди, что называют себя большевиками, тянут власть, как канат, на себя, тянут, грубо рвут из рук – и перетягивают, и вгрызаются зубами в лакомую кость, что раньше была его трон, его честью и его упованием.

Ленин наверху. Под ним тучи людей; они не личности, они приبلуды. Урицкий приходит разгонять Учредительное собрание, а сам дрожит – с него по пути сдернули шубу. Грабители, разбойники на улицах, и разбойники во дворцах – а какая разница? Все равно, кто снял шубу с тебя: большевик или бандит. У Ленина своровали из кармана пальто револьвер. Ленин, Ленин, лысый гриб боровик, говорливый самозванец, где твое оружие? Воры! Воры! А вы сами разве не воры? Разве вы не своровали у царя его страну?

Так все просто. Никакого народа нет. Народом лишь прикрываются.

Есть лишь власть, и берут всегда лишь власть.

Никогда ни о каком народе не думают, когда власть берут.

Взять власть – это как любовь; власть и захватчик, это любовники; разве в любви может быть еще какой-то непонятный народ?

Но народ – это удобный лозунг; это материал, из которого можно наделать кучу превосходных показательных казней. Это твоя почва, ты на ней стоишь; это твоя еда, ты ее ешь. Иногда это даже твой противник, если ты хочешь с кем-то отчаянно побороться.

...Закрыв глаза опять. Положил газеты на стол.

Народ – это то, чем клянутся и о чем рыдают.

Но это уже не его народ.

А есть ли народ вообще?

– Господи, – прошептал он, – Отец небесный... нет народа... и не бывало никогда...

Он читал в газетах: у Ленина лихие люди отобрали ночью документы, бумажник и авто. И все оружие – у самого вождя, у шофера и у охраны. Он вычитывал в гремучих серых, желтых, чуть синеватых, тонких бумажных простынях: заключен позорный Брестский мир, – и ему оставалось только молча кусать губы и сжимать руки. От его страны на его глазах отрезали громадные куски, мир расхватывал и расклеивал земли его империи, и он ужасался и мысленно просил у земного своего отца прощенья: отец, я не смог сохранить твое царство, прости. А что толку? Отец в могиле, и, кажется, царство тоже хоронят. Белоруссия и Польша, Кавказ и Балтия – они уже были не под русской короной.

Да и корона, где она? А валяется в грязи, на задворках.

На задворках Совнаркома.

Они, красные люди, творили с его землей черт-те что. Перевели стрелки часов. Сплющили древний православный календарь. Теперь время шло быстрее, вприпрыжку, карнавально, как там, у них, в Европах. Красные кричали: мы должны быть как они! Мы – Европа! Он криво улыбался, сминал в руке газету. Европа? Мы? Петр Первый однажды уже захотел быть Европой; и что получилось? Разве получилось хорошо? Мы стали терять, и теряли, и теряли, и теряли себя. Но не растеряли: у нас еще есть великое слово.

И великая любовь. И дивные, светлые дети.

...вон они, смеются за стеной.

...Аликс все время говорит ему: не читай газет. У тебя испортится сердце.

Сердце, вечная железная машина, вечный двигатель с сонмом винтиков и заклепок. Сердце, слабый и ветхий кровяной мешок, средоточие боли, земляной, глиняный ком несбывшегося.

\* \* \*

Лямин часто думал, как же это народ будет воевать, к примеру, через сто лет.

Если подумать, то мало что изменится: винтовки небось будут все те же, и пули все те же, и прицелы все те же; ну, может, немножко получше будут сработаны. Танки вот точно усовершенствуются: в них солдаты будут сидеть в просторных железных кабинах, и пушки увеличатся в размерах, и гусеницы окрепнут. А так – все он такой же будет, танк и танк.

Или взять, к примеру, гранату. Как она сейчас подбивается, так и в будущем будет подбиваться. Или там снаряд. И бомбы будут с аэропланов вниз, на города и села, так же валиться; только крылья у аэропланов станут крепкие, снарядом не прошибешь. Из чего же? А из железа.

«Из железа, дурень! Ха, ха! Придумай что-нибудь посмешнее. Да из железа машина в небо даже и не взмлет. А взмлет – так упадет тут же, перевернется кверху брюхом».

...Иной раз его охватывал странный страх, как простудная дрожь. Он представлял себе, сколько же людей сейчас встали, становятся под ружье, чтобы идти защищать молодую Советскую власть; и спрашивал себя: а ты, ты-то что в красные поперся?

И – не мог себе ответить.

Но воображал день ото дня все ярче и непреложней, как толпы мобилизованных красных солдат идут сражаться с добровольцами белыми; и получалось так, что их на борьбу гнали, как скот на бойню, а Добровольческая армия – сама себя строила.

«А нас все равно больше. Все равно. Красных – больше. Потому что мы страдали больше. А они? Где они страдали? Что – выстрадали? Народ, он хорошо знает, что такое страданье. Потому и валом валит – сражаться за счастье».

А потом останавливался, озирался вокруг, будто что потерял, и вслух, тихо, спрашивал себя:

– Мишка, брось, – да где оно, твое счастье?

И опять думал о солдатах будущего. А они-то какие будут – красные, белые, синие, рыжие?

В каком обмундировании будут щеголять? Из чего стрелять? И, главное, – кого защищать?

«А может, мир настанет во всем мире, и защищать уж будет некого. Все будут обниматься... целоваться...»

Думал и усмехался: несбыточно, фальшиво.

Человек всегда зол. И человек всегда хочет больше, чем у него есть. Хочет захватить, завоевать. И – сделать по-своему.

«Всякая метла по-своему метет. Вот метла Ленина...»

Нить мысленную обрывал, не хотел ворошить это все, пламенем полыхавшее в бессонной голове, ржавой кочергой.

И приговоры никому – внутри себя – объявлять не хотел.

Царь был враг, Ленин – за народ, все на деле ясно и понятно, и о чем тут еще балакать.

\* \* \*

...Верный уральский большевик Шая Голощекин опять поехал в Москву.

Урал и Москва оказались странно близко: поезд мчал по просторам вывернутой наизнанку земли, и в брюхе железного длинного червя шевелились жалкие человечьи потроха. Потроха мыслили, но чаще просто плакали, бежали, грабили и стреляли. Шая ехал в Москву – встречаться с важными людьми; их имена знала теперь вся Россия, и он повторял эти имена с гордостью: и я, вот я, безвестный маленький Шая, еду к ним.

Он стоял над всеми уральскими большевиками – так высоко укрепила его жизнь, и он жизнь благодарил, что так хорошо и правильно вознесла его.

Троцкий. Свердлов. Ленин. Ленин. Троцкий. Свердлов. Так выстукивали колеса, и так бормотал он сам, нимало не заботясь о том, как и что он будет им говорить.

Они все сами ему скажут, весело думал он, запуская волосатую руку в банку и вынимая оттуда за ножку крепенький соленый грибок.

Они, эти звонкие имена, горели ярко и были видны отовсюду; и он тоже сидел на горе, и с горы было все далеко видать. Он, Шая, видел то же, что и они, великие; но что наверняка не видел народ.

Народ? А разве это был его народ?

Ну и что, что под немцем западные наши земли; а может, они их, исконные, а наши цари только приклеили их к своему боку – так непрочно припаивают дужку банного бака, а наполняют бак водой да потащат – дужка отвалится, отломится и будет валяться в пыли. Отломились от России дужки? Ничего. Новые нарастит! Дайте срок!

Мы лукавые: мы и немца обманем, и поляка обманем, и чухонца обманем, и румына обманем, и перса обманем. Мы – всех – обманем!

...его верный друг Яша Юровский вот так же думает. И говорит.

Шая спросил его как-то раз: Яша, ты так говоришь или так думаешь?

И Яков расхохотался и хохотал долго. А потом хлопнул Шаю по плечу: думаю одно, говорю другое, а делаю третье! А потом сдвинул брови и добавил: если ты так не будешь жить, ты жить вообще не будешь.

И Шая сказал ему на это: а не выпить ли нам?

...эх, жаль, в вагон с собою наливки не взял.

Яков недавно принес ему отменную наливку, брусничную. Она жгла язык и приводила в чистый восторг.

...Троцкий, Свердлов и Голощекин. Штаны заправлены в сапоги. Зачем у всех в Кремле на руках красные повязки? Они – красный патруль страны. У прямого провода – мир; он жаждет говорить с Советской Россией и узнать, что она будет делать завтра. Красные длинные ковры укрывают старый паркет. По нему вчера ходили цари, а нынче ходим мы. И будут ходить наши дети и внуки.

Знаменитые имена открывали рты и произносили слова; но за словами крылись мысли, и Голощекин должен был их прочесть верно.

И ему казалось: он их верно читал. И верно толковал.

Толкование, оно всегда полезно. Собственный Талмуд должен быть у каждого в голове.

Как они там?

Да неплохо. Их хорошо кормят. Комиссары не жалеют денег.

Хорошо кормят, говорите, в голод? Когда вся Советская страна терпит лишения?

...он понимал: ужесточить режим.

Что говорит Тобольский Совет?

Ждет вашего распоряжения.

А сами они не могут распоряжаться? Нужна наша команда?

...понимал: делайте все так, как приказывает время.

Какой за ними надзор?

Прекрасный. Службу несет отряд Матвеева.

Каков состав отряда? Надежны ли красноармейцы?

Бойцы отличные. Службу несут достойно. Без нарушений.

...понимал: такие бойцы помогут сделать все, что задумает власть.

А письма получают ли они? Газеты?

Почту приносят. Письма читают. Газеты получают исправно. Все – свежие.

...понимал так: за почтой – следить, газеты – прекратить приносить.

А как у них настроение, Тобольск вам телеграфировал?

...не знал, что отвечать. Если ответить – не знаю, можно сплеховать и потерять их доверие. Если сочинить что-либо на ходу – не поверят: они верят только правде.

Настоящей правде; той, что бьется внутри в унисон с сердечным насосом.

...судорожно думал, что ответить.

Били и кололи иглами секунды.

...так сказал, думая вслух, впервые за много времени: тоскуют. Какое же еще у них настроение может быть.

...а потом опомнился и быстро отчеканил: но это видимость одна. На самом деле они все крайне сосредоточены и внимательно следят за собой и охраной. Мы читаем их письма. Из писем ясно, что им хотят помочь их друзья, приспешники и родня.

Помочь?

Да, помочь.

Вы имеете в виду заговор?

Да, именно его.

Как быстро и в какие сроки они надеются осуществить задуманное?

...и тут он не растерялся.

Вполне скоро. Этой весной, летом.

Понятно. У них будет жаркое лето!

...он подхихикнул: да, судя по всему.

Мы им устроим жаркую летнюю баню. Мы их опередим.

...уже подсмеивался открыто, искусно подыгрывал: конечно, опередим, еще бы нам – их – не опередить.

...и понимал все слишком хорошо: принимай их у себя, перевозки к себе, и будем – ликвидировать; любыми способами.

Лысое темя блестело. Курчавая черная поросль пропитывалась потом. Пенснэ сползало с крючковатого носа. Все втроем, великие люди представляли из себя новую троицу; они разнесли в пух церкви и жгли на площадях иконы, ибо сами они были огнем.

И живой огонь был сильнее, мощнее и прекраснее всех огней нарисованных.

И Шая перед ними, владыками, был тоже силен, радостен и смел.

И все это была – революция.

Их революция.

Им единолично, до костей, с потрохами – принадлежавшая.

\* \* \*

Аликс собиралась на прогулку.

Ее прогулка – о, недалеко: на скотный двор.

Она созерцает милых уток и чудесных длинношеих гусей. Гуси и утки, милейшие создания, будут убиты, ощипаны и попадут на кухню к повару Харитонову; и обратятся в изумительные, вкусные блюда, и, хоть они не во дворце, но смогут по достоинству оценить новый обед. Ничего нового вокруг, зато еда всегда новая. О, сколько в еде кроется наслаждения, сюрпризов и тайн!

Наступило новое дивное сладостное время, время Великой Поблажки: для них вдруг разрешили вкусно и много стряпать, и им разрешили сытно и много есть.

Оголодавшие, они боялись удивляться внезапной благодати.

Харитонову было приказано: улещай, – он и старался.

Харитонов готовит щедро и с выдумкой. Он понимает: цари, и им надо, чтобы поизысканней. Он фарширует гуся капустой и печеным луком, а утку – яблоками, слегка присыпая яблочные дольки перцем, сахарным песком и солью, а еще сбрызгивая винным уксусом. И от блюда не оторвать руки, губы и зубы: и старые, и молодые. Как они переглядываются и переговариваются за вкусной едой! Царь качает головой и мычит, как бык: м-м-м-м, м-м-м-м! Татьяна берет перечницу и щедро, озорно сыплет перец, и Аликс ахает: доченька, ты же испортишь блюдо! Что за плебейские у тебя появились вкусы! Тата хохочет. Мама, я революционерка! Перец – это революция в кулинарии!

И царица прижимает пальцы ко рту, а потом крестит дочь: Господь с тобой! Какая революция!

И царь, жуя, мрачнеет на глазах.

После первого вносят второе. Все как во дворце. Лакей Трупп, с жиденькими русыми волосенками, строго, сурово сложив губы, держится прямо, как на параде, и вдруг угодливо наклоняется, расставляя тарелки. Анастасия хлопает в ладоши. Мама, мама, повар нынче приготовил нам мое любимое кушанье! На огромном овальном фарфоровом блюде в центре стола стоит и дымитесь утка по-охотничьи – в луковом соусе, с ломтиками моркови, с солеными помидорами по ободу блюда. И вареная картошка дымитесь, обильно политая топленым маслом.

Они не знают, что это их последний роскошный, сытный обед. А может, еще не последний: они веселятся, передают из рук в руки ножи – их хватает не на всех, – солят и перчат мясо, и мажут хлеб маслом, и смеются, блестя в смехе зубами, – дети – молодыми, а родители – уже требующими починки, да никто тут их не водит к дантисту. А ведь хорошие зубы – это хорошее пищеварение. Дети, жуйте тщательней! Бэби, не болтай за столом!

Повар Харитонов вываливает очистки и огрызки на задний двор. Съестное перегнивает, и по двору тянется вонь. Вот в этот ужас превращается такая вкусная, такая чудная еда?

Николай морщит губы. Доченька, передай мне солонку!

Пожалуйста, папа.

...Настал день, когда советское правительство приказало: Романовых посадить на солдатский паек.

Они опять увидели на столе лишь крупно нарезанный ситный, соль в солонке, пустой, без мяса, гороховый суп.

Николай шутил: ну я же солдат, все правильно. И пытался широко улыбаться.

У него не получалось.

У Аликс тоже: она старательно растягивала губы, а они все не складывались в улыбку, а складывались в гримасу презрения и страдания.

...Лакеи роптали, требовали повысить жалованье. Верный лакей Трупп их пытался осадить: войдите в положение семьи! А в наше кто войдет, возбужденно кричали слуги, продовольствие по карточкам, на рынке цены немислимые, свое хозяйство не у всех, зима на исходе, все подъели, – а этих – бесплатно обихаживай?!

...вот, они уже были – «эти».

Николай сидел за подсчетами. Сальдо, бульдо. Расходы, расходы, и никаких доходов.

– Милая, у нас есть драгоценности.

– Милый, я лучше умру, чем расстанусь с ними! Это единственное, что у нас осталось!

– Ты ошибаешься. Наше сокровище – дети.

– Это будущее детей!

– Эти... камешки?

– Этим камешкам цены нет! За одно мое свадебное ожерелье я могла бы выкупить наши земли, отнятые Германией! И пол-Германии впридачу!

– Ты преувеличиваешь.

– А ты, как ты можешь быть таким спокойным!

– Я считаю.

И царь умолкал и считал.

Перед ним на столе лежали бумаги, счета и его солдатская продовольственная карточка.

Он щелкал костяшками счетов и двигал губами, повторяя про себя цифры.

– Солнце, мы должны ужаться. Мы сократим расходы на прислугу. Я рассчитаю Смелякова и Телегина.

– Невероятно!

– И расходы на провизию тоже. Мы очень много едим.

– Чудовищно!

– У нас нет денег, чтобы покупать хорошую еду.

– Ники, я выплакала уже все слезы! Мне нечем плакать!

– Может быть, родная, это и хорошо. У нас нет денег.

Аликс стискивала руки. Поворачивалась к мужу спиной, и он видел ее затылок, с приподнятым вверх пучком, из которого лезли наружу и все никак не могли вылезти чуть выющиеся седые нежные волосы.

– Как это так, нет денег? А Татищев и Долгоруков? Они же... ходят... занимают! И им – дают!

– Теперь уже не дают. Перестали.

– Не верю!

– Ты знаешь, родная, в Кого нам с тобой осталось верить.

\* \* \*

Матвеев, с керосиновым фонарем в руках, явился за полночь в комнату, где спали бойцы. Подошел к кровати Лямина. Растолкал его. Лямин повозил головой по подушке, разлепил глаза. Спрыгнул с койки, как и не спал.

– Вставай, рыжий.

– Случилось что? А? Товарищ командир?

– Тихо, – прижал палец к губам Матвеев. – Идем-ка... поможешь мне.

Лямин, больше не спрашивая ничего, втискивал ноги в сапоги.

Потом схватил разложенные под койкой портянки, растерянно мямл в руках.

– Я без портянок. Мы в доме остаемся?

– В доме. Портянки брось.

Шли по дому; половицы скрипели. Морозные узоры радостно затягивали белой парчой окна, ночью мороз густел и лился белым обжигающим, пьяным медом. Лестницы качались, как трапы на корабле; ночь меняла все, и предметы и тени, и Матвеев выше поднимал фонарь, свет качался и елозил по ступеням, и Матвеев Лямину ворчливо говорил:

– Гляди, спросонья не упади.

Михаил усмехался, плотно ставил на ступень ногу в нечищеном сапоге.

– Не упаду, товарищ командир.

Он не спрашивал, куда в доме они направлялись. Лишь когда дрогнула перед ними старая дверь и они вошли в кладовую – понял.

Командир выше поднял фонарь. Их тени вырастали в чудовищ, пугали их самих. Метались по стенам. Тусклый фитиль дрожал, истекал красным пламенем. Связка ключей в кулаке Матвеева брякала и звенела; Лямин косился – сколько же тут ключей? Не сочтешь.

– Мы зачем сюда явились? А, товарищ командир?

– Тш-ш-ш-ш. Вещи поглядеть.

– Царские вещи?

– А то чьи же. Сам видишь, не солдатские мешки.

Ключи в руке Матвеева были не от дверей: от чемоданов и сундуков.

Матвеев наклонился, подбирал ключ, возил и вертел им в замке, и чемодан открывался внезапно и радостно, будто давно ждал этого момента. А сколько их тут было, этих сундуков, баулов, английских чемоданов, немецких плотных, туго набитых добром саков!

Открывали; смотрели.

– Э-хе-хе, понятненькое дельце.

– Что – понятно, товарищ командир?

– Да по всему видать, собирались второпях. Вот, гляди! Это-то зачем им тут?

Распахнул чемодан с серебрястыми длинными застежками; он был под завязку набит стеками.

– Эх ты! А это что за палки такие? И много!

– Это – дурень... лошадей понукать. Господских. Их такими палками лупят: дрессируют. Михаил присел на корточки и с любопытством пощупал стеки: один, другой.

– Жесткие.

– Кони терпят.

Открыли другой чемодан. Матвеев ближе поднес фонарь.

– Ух ты!

– Что ты так орешь-то, боец Лямин.

– Виноват, товарищ командир.

– Да весело мне стало! Рассмешил!

– Мне самому весело.

Оба наклонились над чемоданом и оба, враз, протянули руки к нему. И стали рыться в нем, и улыбаться, и смеяться; Матвеев поставил фонарь на пол, и в темноте они копались в роскошном, верно, заграничном, кружевном дамском белье, а оно пахло так нежно, так пьяняще, что у них занималось дыханье и щекотало под ложечкой.

– Экая красота! Может, сопрем?

– Ну...

В темноте Михаил залился краской.

«Авось командир не видит. Я как девица».

– Ты – своей бабе сопрешь! Подаришь!

Лямин сжал зубы.

– Пашка без этого добра обходилась. И обходится.

Матвеев резко опустил крышку и чуть не прищемил пальцы Лямину.

– Дальше давай!

Фонарь качался в руке командира, выхватывал из мрака новые сундуки. Кованые крышки поблескивали медными набойками, резьбой красного дерева. Матвеев ковырял ключом замок. Крышка сундука подалась.

– Господи помилуй...

Господь и правда должен был всех и сразу помиловать: в сундуке лежали и спали иконы.

Друг на друге, дровами в поленнице, штабелями. Во тьме замерцали лики, покатались в лица бойцу и командиру нимбы, кресты и стрелы, красные полосы вспыхивали на золоте, грозные тучи прорезала полоска слепящей синевы, чистой лазури. Ангелы пили из чаши. Святитель Николай держал на руке белокаменный град, похожий на сверкающую хрустальную дружину. Мария шла по облакам, глаза ее рыдали, а рот улыбался, она прижимала к груди младенца, что потом тщетно будет кричать людям: любите! любите! Не убивайте! А люди сделают вид, что слышат, а на деле – не услышат Его.

– Товарищ командир... святые иконы тут... давайте закроем.

– Ты прав.

Матвеев закрыл крышку сундука, опустил фонарь – и так застыл: думал.  
Лямин не мешал ему.

Огляделся. Всюду коробки, чемоданы, сундуки.

– Много же у царей барахла!

– Да ты пойми, они ж не все сюда привезли. Это – капля в море.

Маленький ключ открыл большой сундук. Матвеев почему-то затрясся, открывая его; ему показалось – вот тут и может таиться важное, удивительное. Приподнял крышку.

Сундук хранил великое множество детских сапожек – малюсеньких, совсем крошечных, побольше, еще больше; это все обувал, судя по всему, цесаревич. И матери трудно, невозможно было все это выбросить: в этой детской обуви была вся ее жизнь – вся надежда, радость, все слезы и молитвы, все поцелуи и благословенья.

– Зачем хранят?

– А бог их знает.

– Выбросили бы.

– Жалко, должно быть.

– С собой возить...

– Так ведь поезд везет. И лошадка везет. Чего ж не прихватить.

Лямин видел – Матвеев что-то ищет, волнуется, нюхает, как легавая, спертый воздух, пропитанный ароматом царицыных духов.

– Товарищ командир!

– Да?

– А что мы ищем-то?

– Я сам не знаю. Честно. Но если найдем – честь нам будет и хвала, боец Лямин.

И тогда Лямин замолк. И медленно, осторожно передвигался во тьме под красным фонарем в руке красного командира.

И вот набрали они на громадный чемодан, обтянутый коричневой, цвета шоколада, кожей. На крышке тускло светилась позолота: монограмма царя. Матвеев подобрал ключ. Он нашелся быстро. Крышка затрещала, отходя. Раскрыли. Глядели.

– О-е-е-ей, тетрадки... школьные, что ль?

– Сам ты школьный.

Матвеев поставил фонарь на соседний сундук. Свет падал косо на вскрытое кожаное брюхо. Черные кожаные тетради. Черные солдаты дворцовой жизни; жизни одинокой; жизни семейной; жизни счастливой; жизни великой, а может, невеликой и смешной. Но это – жизнь царя. Матвеев листал тетради, наспех читал, еле разбирал строчки в тусклом красном свете, и ему становилось ясно: это – царский дневник.

Все, все царь заносил сюда, в эти тетради; все дурацкие мелочи, все грандиозные потрясения.

– Что это?

Лямин замер. Матвеев читал.

– Это? – На лбу Матвеева собралось множество складок, они сходились и расходились, как баянные меха. – Это дневник гражданина Романова.

– Дневник? Ишь ты! Это господа... каждый день ведут?

– Да, боец Лямин. Каждый божий день.

Матвеев читал, и его лицо, меняясь и плывя разнообразными тенями и впадинами, говорило Лямину о том, что он нашел то, за чем сюда пришел.

– Важное что-то пишет?

– Да. Что пишут цари – все важно.

– Да прямо уж?

– Не представляешь как.

Клал одну тетрадь, брал другую. Листал.

– Товарищ командир, – Лямин понижал голос, – и вы почерк разбираете?

– Не мешай.

Читал заинтересованно. Иной раз ухмылялся. Хмыкал.

Лямин начинал скучать.

– Что, забавно так пишет?

– Да ну его. – Матвеев кинул тетрадь в чемодан. – Чепуху всякую. В чепухе живут, я скажу тебе, в чепухе!

– Так... – Лямин кивнул на чемодан, – сжечь к едрене матери!

– Ты не понимаешь. Целый воз этих каракулей. Он же все пишет, что видит. Как башкирин: едет по степи и поет, что видит. Но увидеть он может много и такого, что... свет прольет...

– Прольет так прольет. Мы что, унесем с собою отсюда чемоданище этот?

– Нет, боец Лямин. Пусть стоит. Унести – это кража. Все равно... – Он помолчал. – Все равно нам все достанется.

– Все... равно?

Лямину некогда было думать. Матвеев подхватил фонарь, и они оба так же тихо вышли из кладовой, как и вошли туда.

\* \* \*

Они курили оба, то и дело сплевывая на снег. Пашка щурилась на свет высокого уличного фонаря. Небо синело быстро и обреченно, и молчаливые звезды вдруг начинали беспорядочно и громко звенеть; и только потом, когда звон утихал, оба понимали – это проскакала по улице тройка с валдайскими бубенцами.

– Не холодно?

Пашка передернула плечами под шинелью.

Смолчала.

Лямин искурил папиросу до огрызка, лепящегося к губам, к зубам; щелкнул по окурку пальцами, отдирая от губы.

– Ну, все. Пошли в тепло.

И тут Пашка помотала головой, как корова в стойле.

– Нет. Не хочу туда. Там... гул, гомон... Устала я.

Михаил глядел на нее, и жар опахивал его изнутри.

– Но ты же спишь одна. Тебе ж комнату выделили.

– Да комнату! – Она плюнула себе под сапоги. – Черта ли лысого мне в той каморке!

– Я ж к тебе, – сглотнул, – туда прихожу...

И тут она неожиданно мягко, будто лиса хвостом снег мела, выдохнула:

– Присядем? Давай?

И мотнула головой на скамейку близ кухонного окна.

Окно не горело желтым светом в синей ночи: еще вечерний чай не кипятили.

– А зады не отморозим?

Она хохотнула сухо, коротко.

– А боишься?

Сели. Лавчонка слегка качалась под их тяжестью.

– Летом надо бы переставить.

Михаил похлопал по обледенелой доске.

– А мы тут до лета доживем?

– Мишка, – голос ее был так же ласков, лисий, теплый, – Мишка, а я тебе рассказывала когда, как я – у Ленина в гостях была?

Он смотрел миг, другой оторопело, потом тихо рассмеялся.

– У Ленина? В гостях?

– Ну да.

– Нет. Не говорила.

– А хочешь, расскажу?

Он поглядел на нее, и его глаза ей сказали: могла бы и не спрашивать.

Она ногтем ковыряла лед в древесной трещине. Потом подула на руку, согревая ее.

– Я тогда в женском батальоне была. Всю войну прошла с мужиками, с солдатней, а напоследок, не знаю чего ради, меня к бабам шатнуло. Так получилось. Сама набрела я на этот батальон. Красная Гвардия в Петрограде все заняла... все у них... у нас... было под присмотром. Вокзалы охраняли, поезда досматривали... А я только что с фронта. Озираюсь на вокзале. Думаю: какого бы ваньку остановить! Ни одного извозчика, как назло... И тут...

Лямин протянул ей папиросу. Его колыхало, но не от холода.

Он просто так не мог долго рядом с ней сидеть. Вот так, спокойно.

Она стиснула папиросу зубами; он добыл из кармана зажигалку, крутанул колесико. Пашка прикуривала медленно, долго.

– И где зажигалку скрал? – кивнула на позолоченную коробочку в Мишкиных пальцах.

– Не твое дело.

– У царя?

– А хоть бы. Ты дальше... давай.

Пашка сначала покурила, позатыгивалась всласть.

– И вот, гляжу, ванька едет! Я руку взбросила! – остановить. Он: тпру-у-у-у! – а тут меня под локоточки-то и – цоп! Комиссар, по всему видать. Рядом с ним солдат, с шашкой на боку и с пистолетом в руке. Меня комиссар полностью повеличал: госпожа Бочарова Прасковья Дмитриевна? Я, говорю. Смеюсь: только ведь я не госпожа. А он мне так вежливо: пройдемте со мной. Я хохочу: куда это вы меня тащите? Уж не в бордель ли? Теперь он хохочет. И так мне рубит: у меня, мол, приказ, вас задержать. Кого-то вы, брешет, шибко интересуете. Я плечами пожала, комиссар ваньке пальцами щелкнул, мы взобрались в пролетку... и...

Пока курила, молчала. И Михаил не вступал.

– Едем. По всему вижу – правим в Смольный. Я уже знала: там большевики сидят. Да я-то ведь не большевичка никакая... еще была. Просто сама по себе, вояка; а комиссар этот, думаю, может, обознался, меня за кого другого принял. Слазим. К дверям идем. Везде вооруженная охрана. Думаю: ну точно, меня сейчас к стенке. – Опять хохотнула сухо. – Матрос ко мне подошел. Сдавай, говорит, оружие! Я ему: не сдам, мне положено. Он орет: сдай саблю и револьвер! Я ему: хочешь, силой бери, но так просто я тебе оружие не сдам. Мне его вручили... при освящении полкового знамени! Ну куда ж бабе против мужика здорового... сорвал он с меня саблю, револьвер сорвал с ремня... Меня – взашей – толкают, и я иду, и в подвал спускают, затхлый, крысы там. И ни крохи хлеба. Я ору... сапогом в стену стучу... а толку что...

Еще покурила.

«Вечная у нее эта папироса, что ли...»

– Крысы мимо меня сновали. Туда-сюда. Я орала и на них. И сапогом прибить пыталась. Утром затрещала дверь. Я кричу: оружие верните, сволочи! А мне говорят спокойно так: тише, что бушуешь, тебя прямиком к Ленину ведем.

При этих словах Пашка взглянула на Лямина – словно две дыры у него в лице зрачками прожгла.

– Я как захохочу: к Ленину?! Меня – бабу простую?! Ты не простая баба, они мне говорят, ты офицер, это, значит, они у меня Георгия на груди увидели и все вычислили, кто я, что я. Я взяла себя в руки. Не хватало, думаю, перед швалью разнюниться! Так по лестницам пошли.

Впереди меня стража, и позади стража. А я посередине, иду и думаю: хорошо, что Георгия не сдернули! Дверь хлопнула, мы все вошли, и я гляжу... а за столом...

– Кто?

– Ленин.

– Врешь! – вырвалось у Михаила.

Пашка презрительно глянула.

– Эх ты рыжик, рыжик... – Давно она так не называла его. – Да ведь если б я врала – недорого бы взяла! А я за это вранье... жизнью заплатила... и еще заплачу... Сидят. У одного русская морда, у другого – жидовская. И вот сперва один встает, это лысый, Ленин, значит, и первым ко мне подходит. Как к попу, ей-богу! К ручке! Да руку не целует... а жмет... крепко так, крепко... как мужику. – Опять папироса во рту ее дымила. Она взяла ее двумя пальцами осторожно, как стрекозу за брюхо. – А потом и второй подымается. И ко мне движется. А я не знаю, кто это. На всякий случай ему руку жму. Так пожалала, что он – охнул и скривился.

Опять этот хохоток, резкий, короткий. Лямин сжал колени, стиснул их. И зубы стиснул.

«И не остаться тут одним... и зима, холодрыга... и лови ее, лису, за хвост...»

– Лысый, ну, Ленин, значит, передо мной повинился. Мол, мы вас... так и так... зря в каземат-то засовали! Мы вас арестовали, а вы герой. На «вы» меня... да так обходительно... ну, думаю, Пашка ты ледяшка, тебе бы только не растаять в этом горячем сиропе, в варенье этом...

С изумленьем поглядела на окурочек у себя в округленных пальцах. Бросила в снег, под лавку, руку в кулак сжала.

– Вы, говорит, отважная такая! Вон Георгия получили. Нам такие люди, как вы, ну, нашей молодой Советской стране, ой как нужны! Нужнее нужного. Мы, говорит, за что боремся-то? За счастье всех трудящихся масс. За хорошую жизнь рабочих, крестьян и всей бедноты! Всех, кого царизм – мордой в грязь, и под зад пинал! А мы их – превознесем! Ведь они лучшие люди мира! И все такое. Складно говорит. Лысинка... – Хохотнула. – Блестит...

Мишка пошевелился на лавке. Зад и правда мерз. Пальцы в сапогах смерзлись и слиплись куском льда.

«А ей хоть бы что. Горячая...»

– Гладкая речь! Красота одна! Ни к чему не придраться. Я – слушаю. Счастье простых людей, думаю, счастье всех! Всех поголовно! На всей земле! Да разве такое возможно! Ленин ко мне ближе подкатился, я на его лысину сверху вниз смотрю, я выше его ростом, а он передо мной прыгает, такой колобок, ужасно картавит, и спрашивает меня прямо в лоб: «Вот язве вы, Пьясковья Дмитриевна, язве вы не тьюдовой наёд? Вы же сами – тьюдовой наёд!»

Лямин засмеялся: так похоже она передразнила говор Ленина.

– Глядит на меня снизу вверх, я не него – сверху вниз, и спрашивает меня, а глаза как буравчики: «Вот вы хотите – с нами сотьюдничать? Нам с вами ведь по дойого! Вы – кьстьянка, вы беднячка, понимаете, что значит жить тьюдно!» А я возьми и брякни: «А когда жить-то легко было?» И тут... расхохотался этот, жидок... Будто забили в старый барабан... так гулко, глухо... будто бы и не смеялся, а на снегу – ковер выбивал...

Понюхала пахнущую табаком ладонь.

Ночь уже лила чернильную, густую холодную патоку на крыши, трубы, фонари.

– И что ты думаешь, сказала я им?

Мишка молчал. Потом выщедил, и зуб на зуб у него не попадал:

– Ничего я не думаю.

– А зря. Думать – надо. – Она закрыла табачной ладонью глаза и так посидела немного. Когда опять глядела на мир, в ночь, глаза ее сияли ясно, как после причастия. – Я им рублю сплеча: вы Россию не к счастью ведете, а на плаху. Голову отсечете России. Еврей встает и ручонками начинает махать. Говорит и слюной брызгает. Народ, кричит, за нас, и армия

за нас! С нами! Я им: с вами – это значит всех солдат с фронта забрать? Извольте сначала мир подписать, а потом солдат с фронтов – забирайте! А то не по-людски как-то это все! И я сама сейчас же, после нашей с вами встречи, на фронт отправлюсь... если вы не расстреляете меня! Они мне: как это мы вас расстреляем?! Я им: да очень просто! В спину! Когда из дверей выйду!

Лямин, весь дрожа, попытался закрыть ей рот ладонью.

– Тише, тише...

– Что ты мне тишкаешь! – Оттолкнула его, вся красная на морозе, как вареная свекла. – Боишься?! А я вот никого не боюсь. Поперемешалось нынче все! И в головах у людей – каша! Да я – если б по-иному хотела, никогда бы сюда не поехала с твоим Подосокорем!

– С твоим...

– Ну, с моим! Какая разница! Я стою напротив них. Стою, а крик сам из меня рвется! И я так кричу им: вы тут сидите, и не знаете, что такое война! А я – знаю! Неприятель отрежет от нашей России пол-России, если его допустить к нашей земле! Люди смерть принимают, чтобы этого ужаса не случилось! Чтобы страна наша жива осталась! А вы, вы-то что хотите из нее слепить?!

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.